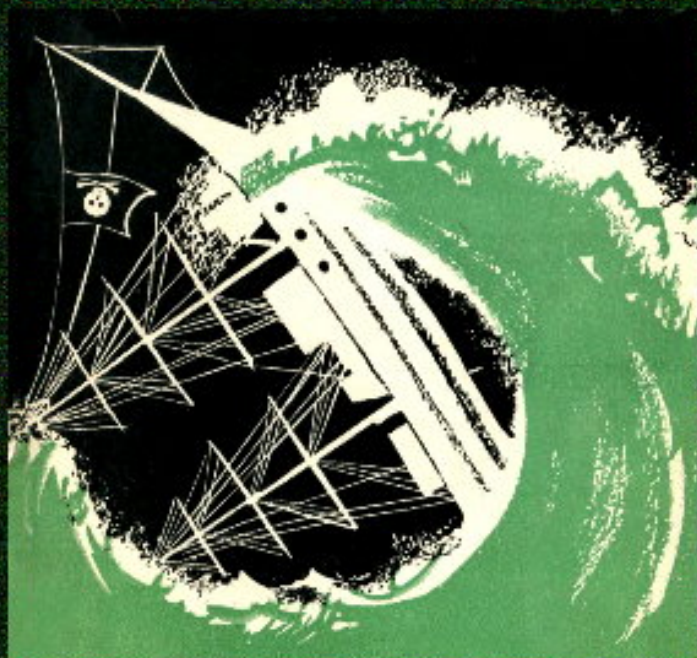


[Polaris]

Эдлис Сергрэв
эсквайр



ИСТОРИЯ ЯХТЫ "ПАРАЗИТ"

Советская авантюрно – фантастическая проза
1920 – х гг.

Том XVI

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

СС



Salamandra P.V.V.

ЭДЛИС
СЕРГРЭВ

ИСТОРИЯ ЯХТЫ «ПАРАЗИТ»

Роман

Советская авантюрно-фантастическая
проза 1920-х гг. Том XVI

Salamandra P.V.V.

Сергрэв Э.

История яхты «Паразит»: Роман. Предисл. И. Рубановского. Подг. текста и послесл. А. Шермана. – (Советская авантюрно-фантастическая проза 1920-х гг. Том XVI). Б. м.: Salamandra P.V.V., 2017. – 207 с. – (Polaris: Путешествия, приключения, фантастика. Вып. СС).

Юбилейный, 200-й выпуск серии «Polaris» представляет читателям замечательную и несправедливо забытую книгу – роман Э. Сергрэва «История яхты “Паразит”». Это, прежде всего, великолепная пародия на романы морских приключений и похождения многочисленных пиратов. Но роман, оставшийся до сих пор неизвестным даже знатокам – одновременно и язвительная мистификация, и тотальная литературная игра, площадкой которой становится вся советская литература первого послереволюционного десятилетия. Наконец, это просто очень веселая книга. Есть немало оснований полагать, что под псевдонимом «Эдлис Сергрэв, эсквайр» скрывался одаренный поэт, писатель и путешественник Б. М. Лапин, погибший в 1941 г. под Киевом. Роман «История яхты “Паразит”» (1928) переиздается нами впервые. В приложении – рассказ Э. Сергрэва «Драма во льдах» (1928).

ИСТОРИЯ



ЯХТЫ ПАРАЗИТ

„МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ“

Эдлис Сергрэв,
эсквайр

ИСТОРИЯ
ЯХТЫ
«ПАРАЗИТ»

Роман

ПРЕДИСЛОВИЕ

Следует думать, что лет 75 тому назад эта повесть не потребовала бы нашего предисловия.

Ее читали бы, ужасались и восторгались, проливая в нужных местах слезы и весело смеясь над тем, над чем, по убеждению автора, следовало бы смеяться.

Но думаем, что надежды автора на такой прием несколько преувеличены. Они вовсе не оправдаются, эти надежды, ибо...

Дело вот в чем (мы хотим признаться читателю начистоту): безнадежно и невозвратно прошли времена карамзинской «Бедной Лизы», но сама «Бедная Лиза» осталась. Память о ней хранят только профессора да студенты литвузов, знакомящиеся с этой девушкой по настоянию своих воспитателей. Мы не хотим сказать ничего плохого о «Бедной Лизе», но мы просто хотим оставить за собой право — остаться к ней равнодушными. Она не волнует нас, мы не можем разделять ее страданий и восторгов; это наше право, заработанное тем, что на своих собственных плечах мы тащим нашу замечательную эпоху, что мы сумели стать совершенно другими, чем читатели «Бедной Лизы».

Читателю все еще непонятно?

Объясним короче. И откровеннее.

«Яхта “Паразит”» вовсе не одна повесть. Это — сто повестей, а может быть, и больше.

Ее автор — не Эдлис Сергрэв (такого, кажется, нет и не было), но ряд блистательных европейских созвучий двух этих слов напоминает нам десяток писателей, которых читали, любили и чьи имена похожи на эту фамилию. Может быть, даже какой-нибудь «попутчик» или пролетарский писатель скрывается под этой звучной фамилией, так похожей на ласкающие слух имена Эмилио Сальгари или Луи Жаколио.

Больше того, нам кажется даже, что «История яхты» не повесть, а исследование о штампах, традициях и схемах в

авантюрно-морском романе, исследование, из которого выброшены все публицистические ремарки и оставлены ловко пришедшиеся друг к другу цитаты, образовавшие повесть об «Истории яхты “Паразит”».

Теперь читателю несколько более понятна наша мысль. В самом деле, — в этом замечательном произведении имеется все, что может потребовать самая сложная интрига: похищения, переодевания, коммерческие авантюры, загадочное исчезновение необходимых персонажей и их загадочное появление, — все сложные аксессуары морской трагедии — от плащей и романсов, воспеваемых «корсарами» — до отборных первоклассных ругательств, которые и не мерещились пылкой фантазии Сальгари или Жаколио.

Песенкам героев «Яхты» мог позавидовать Стивенсон, кажущийся таким надуманным и неизобретательным со своим «Двенадцать человек на ящике мертвеца и бутылку рома». Но для создания «Истории яхты» автор не пользовался готовым материалом. Наоборот, преодоление этого материала положено было в основу повести, и каждая страница в такой же степени похожа на традиционный авантюрно-морской роман, как и совершенно отлична от него.

В самом деле, если путь развития от примитивного так называемого «плутовского романа» до изысканных сюжетных сплетений какого-нибудь современного Пьера Мак-Орлана потребовал едва ли не полутора столетий, чтобы вырваться, наконец, из штампа в произведениях Джозефа Конрада, то в наши дни этот путь сокращается в два десятка раз. У нас уже есть свои Луи Буссенары и Конан-Дойли — поставщики хорошо оплачиваемых сногсшибательных «приключенческих повестей» и «научно-фантастических романов».

Нужно прямо сказать, что этот жанр был вскормлен, главным образом, редакторами наших провинциальных газет. Хорошие ребята, честно любящие свое ремесло, они с величественным презрением давали приют на третьей или четвертой полосе «Тайнам провокатора», «Красным кладоискателям» и «Радио-сыщикам» в надежде поднять хрепящий тираж своих изданий.

Мы не против газетной беллетристики. Известно, что один из лучших романов Ч. Диккенса явился просто разработкой заказанных автору надписей к газетным картинкам.

Вся беда в том, что Диккенсу не у кого было списывать и он работал сам, изобретая новый сюжетный прием, зарабатывая фабулу, характеры и проч. Еще задолго до наших Веревкиных, традиционные приемы классической авантюрной литературы были предельно опошлены и затасканы безымянными авторами бесконечных выпусков «Ника Картера», «Гарибальди» и прочих произведений, «следующий выпуск» которых стоил «ровно 5 копеек».

У бульварных художников, лишенных собственного творческого дарования, широко распространен прием, известный под именем «панданчика»*. Они берут картину известного художника и рисуют к ней «панданчик», то есть совершают плагиат, изменяя несколько детали, ставя вместо дерева скамейку и наоборот. Простаки покупают такие картины, думая, что перед ними действительно художественное произведение. У нас вот этот способ «панданчика» развит в художественной литературе необычайно. Подобно зренбургской «Любви Жанны Ней», которая представляет собой слепок с сентиментального бульварного французского романа, — с той лишь разницей, что здесь великосветский персонаж заменен не менее душещипательным, но более современным образом коммуниста, — наши Жюль Верны и Стивенсоны пытаются создать традицию советского приключенческого романа. Убожество выдумки сочетается там с плохим знанием русского языка и бездарным использованием трафарета. Эта литература не имеет права на существование. Лучший способ убить ее — это показать такой литературный продукт в препарированном виде, где материал идет слоями и где достаточно слегка раскрыть метод работы, чтобы сразу стала ясна смехотворная убогость приема.

* От французского слова «pendant».

Таким образом — начиная от ругательств «...помесь жабы и перпендикуляра!», кончая введением в действие расторопных и обязательных комсомольских персонажей, — в «Истории яхты “Паразит”» мы видим дань уважения и к «традициям» советского авантюрного романа.

Думаем, что роман удался Эдлису Сергрэву. Но мы повторяем вновь наше опасение: если бы 50-75 лет тому назад простодушный читатель восхищался и ужасался, следя за подвигами героев «Истории», то ставший искушенным современный молодой читатель будет весело смеяться над жуткой драмой Анны Жюри и возвышенным благородством Левы Промежуткеса.

И. Р у б а н о в с к и й

Пишется Айртон, а произносится
Бен-Джойс.

Жюль Верн
«Дети капитана Гранта»

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Интродукция

ГЛАВА ПЕРВАЯ,

*в которой читатель начинает сочувствовать Диксу
Сьюкки и знакомится с начатками интуитивной
философии Роберта Поотса*

С этой точки зрения, сознание живого
существа определяется арифметической
разницей между действительным и воз-
можным действием*.

А. Бергсон. —
«Творческая эволюция»

По утрам Босфор напоминает неограниченное поле битого стекла, в котором дробится солнце, и только Золотой Рог способен казаться безупречным зеркалом. Небо сладостно, как голубой рахат-лукум, а порт выглядит выставкой соблазнов.

В одно из таких пленительных утр (15 или 46-го апреля 1926 г.) Дик Сьюкки, штурман, стоял на палубе яхты «Парадиз» и задумчиво плевал в воду. На плевков веером собирались золотые рыбки и в негодовании снова разлетались во все стороны. Дик Сьюкки был сыт невкусным мясом, трезв и, не без основания, чувствовал себя безобразным: будучи втайне весьма чистоплотен, он все гуще и гуще обрастал безвыходной щетиной — для бедного штурмана был закрыт вход в константинопольские цирюльни, потому что схватки с его волосами не выдерживала ни одна бритва. Это были короткие, толстые, прямые волосы оранжевого цвета с крючковатыми закруглениями на концах, служившие для экипажа яхты предметом не столько насмешек, сколько угрюмых размышлений о природе человека. Надо пояснить, что экипаж «Парадиза» далеко не представлял

* Туманно! (примечание автора).

собой сборища беззаботных забулдыг, — нет! все эти обветренные физиономии принадлежали людям весьма растерянным и нервным; одной из главных причин их растерянности являлась материальная нехватка. Трудно утверждать, что люди с «Парадиза» были голы и босы; зато они не могли позволить себе портового веселья, достойного щетины Дика Сьюкки или массивной челюсти Роберта Поотса.

Последний только что вышел из камбуза и хотел было присоединиться к невинным радостям Дика, но внезапно ощутил прилив неосновательной энергии.

— Алло, старина!

Дик Сьюкки нехотя выпрямился и пробормотал:

— Что ж? Алло, так алло!

Бедный оранжевый штурман недолюбливал механика: на каких бы бобах или тропических широтах не сидел Роберт, его физиономия сохраняла свежесбритый и чистый вид; на впалых щеках играл под сурдинку скромный, масажный румянец, а длинный подбородок сиял прозрачной белизной балыка. Денька два тому назад Дик Сьюкки попросил у Роберта бритву, но счастливцев отказал ему и отвернулся от просителя с тонкой улыбкой...

— Итак, алло, старая свинья!

— Я ж ответил — алло!

— Что скажешь?

Дику Сьюкки было нечего сказать, кроме того, что дела по-прежнему идут скверно. Он вытащил из кармана трубку, заткнул ей пасть табаком, завалившимся на доньшке сатинового кисета, и закурил, напевая безнадежную песенку:

Та-ри-ра-рам, увы, увы!..
Эй хум, ту хев, хеп, хеп!..
Красотка Мери для меня
Варила суп и хлеб*.

* Перевод принадлежит Б. М. Лапину.

Механик уселся верхом на борт «Парадиза», наслаждаясь чувством, похожим на вдохновение, — время от времени это случалось с Робертом. Никакими талантами он, впрочем, не обладал и постепенно становился неврастеником.

— Я думаю, — сказал он, — что с нас хватит! Я думаю, что если бы мы пошли в город без денег, мы зацапали бы деньги в городе.

— Почему? — спросил Дик.

Роберт с легким высокомерием прикрыл глаза:

— Когда мы очень раздражимся от отсутствия денег, наш мозг сам придумает, где их достать. Он-то уж не выдаст! — Совершенно верное дело.

Дик Сьюкки задумался:

— Вероятно, нам захочется украсть.

— Как сказать... Наше дело, старик, маленькое! Тут главное — мозг. Как бы то ни было, нам следует отправиться в город.

— Вдвоем?

— Вчетвером. Прихватим с собой Анну Жюри и Таабо.

Несмотря на старую неприязнь к механику, Дик Сьюкки всегда бывал польщен доверием такой чисто выбритой и приятной на цвет личности.

— Ладно, — проворчал он, протягивая соблазнительно свою огромную, заржавленную ладонь.

Так была заключена первая сделка. Роберт, еще пять минут тому назад не знавший, куда повыгоднее поместить свой драгоценный прилив энергии, успокоился и стал плевать в воду, чтобы заменить для рыб Дика Сьюкки: на обязанности штурмана теперь лежало разыскать и уговорить двух остальных участников предполагаемой прогулки.

ГЛАВА ВТОРАЯ,

в которой читатель приобретает еще двух друзей из экипажа яхты и подпадает под обаяние аристократических манер господина консула по прозвищу «Лысая помеха»

Общество готовилось устроить ему торжественную встречу, какая полагается знаменитости небольшого чина.

Р. Л. С т и в е н с о н. —
«Арабские ночи».

Куда больше, чем землячество на чужбине, связывает людей общий язык: с его помощью они становятся сообщниками. Владелец яхты, консул маленькой балканской страны, случайно поставил главным условием, при наборе команды, знание английского языка.

И вот, еще задолго до заката солнца, на узкой улице, ведущей в Галату, показалось четверо дружных и трагически настроенных людей. Свой тернистый путь они совершали с деланным смирением; правда, Дик Сьюкки изредка вспыхивал под оранжевой кожурой, но Роберт Поотс удерживал его от необдуманных поступков неподражаемым жестом своей выдвижной челюсти. Двое других, по-инстинкту, почерпали утешение во взаимных рукопожатьях. Сейчас уместно объяснить, что один из них носил нежное имя Анна Жюри и обладал хилым, портативным телосложением, узким, высоким лбом, круглыми желтыми глазами и красивым, но поношенным носом; он являлся представителем того психофизиологического типа, который хироманты называют Меркурием, а мелкие купцы — мошенником. Спутник Анны Жюри имел, наоборот, вид человека, не допускающего в свою жизнь ни малейшего вмешательства хиромантов и мелких купцов: коренастый, ту-

манно-бледный, не сгибающийся ни в талии, ни в подколенных чашках, он прямо держал свою голову, поросшую тонким розоватым пухом; его светло-серых глаз товарищи обыкновенно не замечали, а за честные, крупные, белые зубы любили и жаловали. Он служил машинистом, носил имя Юхо, фамилию Таабо и, за вечное молчание, прозвище Гроб.

А путь, действительно, был тернист. По обеим сторонам узкой прокуренной улицы тянулись приспособления для пыток. Здесь были и лари с пестрыми детскими сладостями, и лотки с фруктами, и фасады третьеразрядных гостиниц, и яркие вывески кабаков с еще не зажженными, по раннему времени, фонариками, — все, что привязывало наших моряков к земле. Сухопутные крысы оглядывали хорошо знакомых матросов с нескрываемым пренебрежением; более темпераментные фыркали и плевали вслед. Маленькая проститутка на зеленых шелковых ножках даже швырнула в Анну Жюри окурком сигаретки:

— Райские птички, хи-хи! Птички с «Парадиза»!

Анна Жюри вспыхнул, потом побледнел и, заикаясь, сообщил несгораемому Гробу:

— Я... я... б...бы мог выколоть с...стерве г...глаза, — к сожалению, я... я — толстовец!

Другая женщина, тощая и ветхая, как полотенце, но с глазами до ушей, швырнула под ноги штурману труп большой, бледной дыни. Пока Дик старался сохранить равновесие, продавец искенджябина*, смакуя происшествие, поучал на портовом жаргоне своего тринадцатилетнего сына:

— Это — плохой, бедный человек! Очень плохой, очень бедный! Он очень хочет купить мой вода и не может купить мой вода! Велик аллах! Он потный, как лошадь — посмотри, сын мой, у него на губах пена!

Это переполнило чашу, — к благочестивым рассуждениям продавца с явным интересом прислушивался весь

* Прохладительное питье.

квартал. Оранжевая кровь Дика Сьюкки взыграла: он поднял свой курчавый кулак и с удивительной меткостью всадил его в огромный рот пророка. Пророк упал. Улица угрожающе взвыла и бросилась к обидчику. Матросы, пробирав себе путь между мягких животов и восточных товаров, завернули за первый попавшийся угол и побежали, что было духу, в интуитивном направлении. Тут-то, в минуту окончательного крушения, все четыре головы осенила, как заранее обещал Роберт Поотс, гениальная мысль:

— К к...консулу! — бросил Анна Жюри, оборачиваясь.

— К консулу! — подхватил Роберт Поотс неожиданным фальцетом. — Деньги на бочку!

— К консулу или к дьяволу! — за неимением стола и звякающих стаканов, Дик Сьюкки ударил кулаком по спине Гроба.

С героической точки зрения, они были правы, потому что «Парадиз» принадлежал консулу, а консул не платил жалованья. Яхта заматерела на якоре. Капитан «Парадиза» появлялся на судне редко, да и то в обществе недосыгаемых штатских весельчаков; лейтенант же, Эмилио Барбанегро, одичал за чтением книг, как в заповеднике для зубров.

— Прямо к консулу, били палкой! — бормотал Дик Сьюкки. — Билли Палкой!* Что значит, не осмелимся?!

Сменив медвежью гонку на плавный бег гуськом, они подвигались к европейской части города.

— Здесь, — объявил, наконец, Роберт Поотс, задерживаясь у белого, жирного дома в мавританском стиле, — и вся четверка остановилась передохнуть.

Дом консула сидел в глубине сада, пестрого, как восточная баня; бока его сторожила, с видом евнухов, пара развесистых, но чахлах акаций. Длинные полотенца доро-

* Билли Палкой — старинный друг и учитель Дика Сьюкки, известный моряк (принимал участие в экспедиции лорда Гленарваина по розыскам капитана Гранта). В 1898 году лично убит в кровавой схватке с Летучим голландцем под 40° восточной долготы. Мир его праху!

жек нежно вздувались, сладко журчала вода, а розовые обмылки бегоний дышали селедкой и медом. Пред лицом столь аристократического времяпрепровождения, храбрость постепенно оставила моряков; Роберт Поотс чувствовал, что она падает в нем, как ртуть в термометре.

— Я думаю, — сказал он, — я полагаю, что нам следует переговорить с привратником...

— Почему? — по обыкновению спросил Дик.

— Я предвижу...

Но в это мгновение рука Юхо Таабо уже стучала в окошечко привратника. Последний ответил более солидным стуком и, заставив посетителей малость подождать, вышел наружу. Вид четырех молодцов освежил его неопределенным призраком выпивки, но, увидев на околышах надпись «Парадиз», он снова сосредоточился.

— Эх-м-хы-гм, собственно... гм... — начал Анна Жюри и с вожделением поглядел на Дика Сьюкки.

Дик в это время жадно заинтересовался собственной подметкой; Гроб с честью оправдывал свое прозвище, а привратник продолжал глядеть в рот Анны Жюри, как на черную лестницу рабочего дома...

— Ну, вот... мы... гм... и тово... так сказать...

— Да, — знаете, алло, старина! — решился Роберт Поотс. — Шлендали мы это, значит, мимо и думаем, это, давай зайдем на огонек! это... так сказать... гм... хе-хе!..

Привратник сострадательно склонил голову на бок, но поднял брови:

— Какой огонек?

Дик Сьюкки расхрабрился:

— Мы, собственно говоря, не на огонек, а к «Лысой по-мехе», хе-хе!

Привратник поднял брови еще выше:

— Кого?

— Консула.

— А-а... — привратник вспомнил и прищурился. — Господин консул изволили отбыть в Меджидие. Больше ничего?

Терпеливо прослушав три тихих проклятья, он вернулся в свою берлогу. Обескураженные друзья плюнули, вышли за ограду и мрачно засунули руки в карманы.

— Эта п... падаль с позументами врет! — предположил, наконец, Анна Жюри, не выносивший молчанья. — Консул, несомненно, дома.

— Ты — дурак! — прямодушно откликнулся Дик Сьюкки.

— Ж... жалкая образина! — ответил толстовец, брызгаясь слюной. — Ко-ко... Неб-бритый окорок!

Хорошая драка могла бы компенсировать общее недовольство. Этому помешал лакированный, как ботинок, узконосый автомобиль. В авто, откинувшись на кожаные подушки, сидел ясный и свежий «Лысая помеха» в цилиндре и дымчатых очках. Завидев своих матросов, он умиленно улыбнулся; к цилиндру поднялись два серых замшевых пальца. Автомобиль закричал, а Дик Сьюкки, потрясенный до кончиков волос, сел на услужливо пододвинутую природой землю...

ГЛАВА ТРЕТЬЯ,

*в которой читатель трепещет от жажды приключений
и находит союзника в лице человека, именуемого
Корсаром*

Красивое имя,
Высокая честь!
Гренадская волость
В Испании есть.

M. Svetloff.

По возвращении четырех неудачников на солнечный спардек «Парадиза», все случившееся было передано лейтенанту; он шумно захлопнул роман Джозефа Конрада, разметал свою смоляную шевелюру и прогремел:

— Помесь жабы и перпендикуляра! — вы не моряки.

После этого несколько секунд он готовился к обличительной речи. Его загорелое лицо с интеллигентным крючковатым носом и даже короткая, иссиня-черная борода, казалось, метали молнии; наконец, он весь налился горьким сарказмом и заговорил, расчесывая ногтями свою открытую грудь цвета желчи с медом:

— Шмендефер! — вы не моряки! Я знал это, когда вы клацали зубами перед опасностью выйти в море! О, я знал, но мысль представлялась мне чудовищной!.. Три месяца мы гнием в этой калоше, и я грызу себе ногти на ногах, а вы даже не тоскуете по борьбе с разоренной стихией! Жалкие овцы! Жалкие пасынки овец! Три месяца нам не платят монеты, и я вопию к звездам, а вы, наклонив выи, плюете в воду, и когда, наконец, вам представляется случай отомстить за себя, вы приходите жаловаться ко мне, как саранча к Иисусу Христу! Нет больше моряков! Шмендефер!..

Команда яхты уже успела привыкнуть к этой чрезмерной манере выражаться, но сейчас разговорный стиль Барбанегро казался в особом несоответствии с практическими нуждами. Роберт Поотс судорожно кривил губы и передергивал плечами; Анна Жюри давился от уязвленного самолюбия собственным адамовым яблоком; двое других угрюмо разглядывали исцарапанную грудь лейтенанта.

— Бунт на корабле! — продолжал тот. — Бунт на корабле? Бунт это — я!

...Лейтенант неожиданно выдохся.

Его энтузиазм перешел, по старшинству, к Дику Сьюкки.

— Мы все — бунт, — довольно решительно заявил тот, переступил с ноги на ногу и тоже почесал грудь. — Что прикажете, господин лейтенант?

Эмилио Барбанегро (прозвище его было Корсар) пронзительно поглядел в глаза Дика Сьюкки:

— Я верю тебе! — сказал он углубленным и разбитым голосом, — я верю тебе, грубое дитя природы!

Дитя природы польщенно ухмыльнулось. Анна Жюри не мог вынести этого:

— Делать-то что-нибудь мы будем или... нет? — непочтительно спросил он Корсара.

Барбанегро, с некоторой натугой, разразился дьявольским хохотом:

— Делать? Хо-хо-хо!.. Делать? Это мне нравится, старый подсвинок! Конечно! Сегодня же, сейчас же, не сходя с места!

Внезапно он стал серьезен. Лицо его покрылось налетом спокойного героизма:

— Наивные друзья мои! Дорожа честью ваших мундиров, я беру позор на себя. Сегодня ночью я буду говорить... — с консулом? О, нет, довольно!.. — с его женой! Сердце женщины отзывчиво и мягко. Вспомните своих возлюбленных, друзья мои, — вспомните медальоны с их поблекшими фотографиями!

Четверо слушателей от удивления забыли свои обиды; они только молча переглянулись и растерянно подмигну-

ли пятому, неслышно присоединившемуся к компании, — это был Титто Керрозини, итальянец с головой Цезаря и короткими ногами. Он выразительно откашлялся и стал поодаль у борта, перебирая четки из ракушек; с этих пор и до конца сцены лейтенант искоса поглядывал на него. Речь свою Корсар заключил короткой фразой, заставившей всю компанию затрепетать:

— Вы будете ждать меня в притоне «Оригинальная вдовушка».

— В кабаке, Билли Палкой! — взвыл Дик Сьюкки. — Вы слышите, ребята, в кабаке! А деньги?

— Я полагаю, что нас не пустят без денег, — всхлипнул сдавленным шепотом Поотс.

— Н... на чьи средства? — злобно крикнул Анна Жюри.

Корсар побледнел. Пошатываясь, он подошел к столу; матросы испуганно расступились.

— Деньги? — спросил Барбанегро. — Вот деньги, неблагодарное отребье!

Он закинул голову, засунул себе в рот два пальца, как бы собираясь засвистать, и оставался в этом положении несколько секунд. Когда он снова опустил голову, лицо его было серо, глаза сверкали демоническим блеском, а по нижней губе стекала кровь.

— Вот деньги! — повторил он и швырнул на столик перед потрясенной аудиторией три, спаянных мостиком, золотых зуба...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ,

*где Корсар начинает оправдывать свое громкое имя и
показывает читателю не только дом консула при
ночном освещении...*

Он говорил себе, что все его надежды
зависят от этой женщины.

Д. К о н р а д. —
«Победа».

Примите благосклонно.

Вольтер. —
«Девственница».

Морской ветер доходит до центра города, уже впитав в себя портовые запахи. Он веет кожей, фруктами, москательным и колониальным товаром...

На небе таяла перезревшая константинопольская луна. Глухими переулками Эмилио Барбанегро добрался до белого дома в мавританском стиле. За плечами Корсара развевался плащ, на голове трепыхалась широкополая панама. Под плащом ютился моток толстых веревок и неизвестный инструмент особого назначения. В голове у Корсара гудело от выпитого только что залпом романа приключений.

При лунном сиянии дом консула имел невинный и трогательный вид; со стороны можно было, пожалуй, подумать, что там живут честные люди. Две евнуховидные акации уже спали, а привратник, по обыкновению, удалился в один из ближайших кабачков. Среди темных окон Эмилио Барбанегро безошибочно разыскал то, которое было ему нужно. Впрочем, никто и не мог бы ошибиться в выборе: это узкое окно теплилось изнутри розовым светом

и даже позволяло разглядеть нежный будуарный фонарь. Как черная птица, Корсар перемахнул через ограду, вынул из-под плаща веревку и закинул ее конец, снабженный искусной петлей, на подоконник розового окна; потом, тяжело отдуваясь он взобрался по веревке и заглянул внутрь: в небольшой пятиугольной комнате, на тахте, полулежала женщина лет тридцати пяти. Около правого локтя ее красовалась тарелочка с остатками яичницы под зеленым горошком, а у ног спала потасканная белая болонка. Глаза консульши были закрыты; полные губы выражали неудовольствие.

Эмилио Барбанегро с легким скрипом очертил стекло алмазом своего перстня. Болонка взвизгнула. Консульша выкатила глаза и приготовилась кричать, но Корсар молниеносно выставил стекло, перегнулся через подоконник и прошипел:

— Тссс!.. Я свой!

Видя, что рот женщины еще раскрыт, он продолжал:

— Клянусь, я совершенно свой! — Я лейтенант яхты, и пришел рассказать вам о вашем муже.

При слове «муж» консульша обрела дар шепота:

— А почему?..

— Через окно? Потому что консул не должен знать об этом!

Мадам Евфимия была простая, решительная женщина. Ради того, чтобы узнать что-нибудь плохое о своем супруге, она могла бы впустить в окно целую группу разбойников с их лошадьми. Она только предусмотрительно вытащила из-под матраца маленький браунинг, — и лейтенант «Парадиза» был уже в розовом будуаре.

— Ну? — сказала консульша. — Я слушаю. Я нервная и больная; мне запрещено волноваться.

Эмилио Барбанегро стал на одно колено и, предъявив свои документы, начал трагическую повесть о «Парадизе». Три месяца безделья и безденежья распалили и без того пылкое воображение лейтенанта.

История с жалованьем обратилась в его устах в поэму любви и смерти, «Лысая помеха» получил выигрышную

роль жестокого плантатора, а его жена — ангела-заступника невинных...

— Он так любит вас! — говорил Корсар, то повышая, то понижая голос. — Вы — светлый луч, вы — женщина. Мы вылепим ваш бюст из бронзы и поставим его на корму «Парадиза»!..

— Бросьте, задрыга! — прошептала польщенная дама, роняя браунинг. — Бросьте поливать! Вы большевик и хотите занять жалованье!

Корсар схватил ее руку:

— Не о себе я думаю, а о малых сих!

— О малых сих! — воскликнула консульша. — О малых сих! А вот этих малых видали? — слегка приподняв юбку, она похлопала себя по икрам и показала лейтенанту заштопанные шелковые чулки. — Мы же бедные люди! Как суслики!..

Корсар опешил:

— Как суслики?..

— Боже милостивый! Вы думаете, мой пачкун дает мне деньги? Вы думаете, он что-нибудь может? Я кушаю яичницу с горошком, как последний грузчик и, вдобавок, консульство ликвидируется!

Она забегала по комнате, хватаясь за прическу.

— Лавочка закрывается! Мы думаем загнать яхту, и сегодня же он попер по этому делу в Ангору!

Так рушилась последняя надежда. Как это ни странно, лейтенант отнесся к известию с меланхолическим спокойствием.

— Печально... — вяло пробормотал он. — Увы, увыв...

Глаза Корсара были теперь упорно устремлены на три главных атрибута консульши: янтарно-желтые шелковые чулки, янтарно-желтую роговую гребенку и какую-то, не менее янтарную, но незнакомую моряку галантерею, вихлявшую вокруг пояса. «Французская работа, — думал лейтенант, — да-а»...

Он был прав. Вся желтизна, украшавшая мадам Евфимию, хранила явный отпечаток галльского юмора. Она стояла дороговато, даже в константинопольских магазинах. И

потому каждое утро вместе с молочником, зеленщиком и мясником двери консульства осаждал обиженный контрабандист.

«Тысячу долларов всегда легче достать, чем один!» — кончил думать Корсар, ослепленный поразительной догадкой... «Даже у Дика Сьюкки припрятано, наверное, где-нибудь сбереженьице... Да. Кроме того, можно найти мецената...»

— Во сколько господин консул ценит яхту?

Мадам Евфимия вытерла глаза и рот:

— Он продаст ее за гроши! Разве ж это яхта? Это ж раздолбанная дримба!

Корсар победно встряхнул шевелюрой. Он вытащил из-под плаща инструмент особого назначения, оказавшийся подержанной гармоникой, и, не предупреждая, запел серенаду на скверном испанском языке:

О, донна Евфимия,
Вы лучезарны!
В тихую рощу
Выйдем попарно...
Луны мерцание
Все серебристо, —
Страшна лю-бо-о-овь
Контрабандиста!
О, донна Евфимия,
Вы мной играете!
Но вы вся сплошь ангела
Напоминаете!..
Вот моя шпага
И в сердце отвага...

Корсару, как и всякому художнику, собственное произведение помогло уяснить собственную сущность. Отзвонив серенаду, он откланялся, чтобы не опоздать на свидание с командой, но консулыша упростила певца бисировать и поставила на спиртовку никелированный кофейник.

ГЛАВА ПЯТАЯ,

где герои угощают читателя в кабачке «Оригинальная вдовушка» и помогают ему завести новые знакомства

Остерегайся подозрительных знакомств, дитя мое.

Заветы матери.

В это же время, но в месте поинтереснее, по сизому воздуху плавали бутылки. Густая атмосфера время от времени разряжалась визгами постовых проституток.

Над мраморной стойкой, липкой от грязи и опивков, остроконечно вздымалась пухлая женщина с лунатически-бледными серьгами в ушах; с ее багровых щек сыпалась мертвецкая пудра, а брови были искусно подмазаны точным составом. Это — красовалась хозяйка заведения, сама «оригинальная вдовушка», в миру — бывшая русская генеральша Драгоскакова. Вокруг нее сновали, как рыбы в аквариуме, расторопные молодые люди с втянутым животом и распертой грудью; прищелкивая невидимыми шпорами, они лихо подносили гостям умопомрачительные напитки; официальным языком этой болотистой страны считался русский. За столиками покупалось и загонялось породистое барахлишко, велись философические споры, а над всем доминировала чья-то душераздирающая исповедь. Наш читатель почувствовал бы себя весьма скверно, не повстречайся он с пятью старыми знакомыми — Диком Сьюкки, Анной Жюри, Юхо Таабо, Робертом Поотсом и Титто Керрозини. За исключением толстовца Жюри, все они сосали глиняные трубки и дули пиво; их закаленные сердца трепетали в ожидании Эмилио Барбанegro, который должен был принести надежду или смерть.

Волнение моряков усиливалось звуками заунывной песни за соседним столиком.

— Я полагаю, — кротко сказал Роберт Поотс, — что музыка сильно действует на столь примитивные натуры, как мы с вами!

Он хотел уже вдаться в рассуждения, но певец, пошатываясь, встал и повысил голос:

Уж скоро десять лет,
Как я разут, раздет.
Как в поле росаха,
Ищю себе размаха!
Ца-ца...
Бутылка мой приют,
Мне воли не дают,
Мои глаза, как сливы,
Я прапорщик красивый!
Ца-ца...

— Приятный тембр, — растроганно пробормотал Дик Сьюкки, — но я не понимаю, что он поет.

— Я полагаю, нечто очень печальное, — рассудил Роберт.

Оранжевый штурман свирепо затаился трубкой и отвернулся от товарища.

— Какой крепкий табак! — проговорил он дрожащим голосом...

Певец уже приканчивал последнюю строфу:

Откуда ж я уйду?
Куда же я приду?
Хотя дворянский сын,
Брожу, как сукин сын!
Ца-ца...

— Тса-тса, — повторил штурман печально и положил голову на стол...

Заметив произведенный эффект, красивый прапорщик посоветовался со своими собутыльниками и подошел к морякам.

— Позвольте!— сказал он по-английски и, оценив положение, представился: — Дворянин Виктор Евгеньевич Гурьев, певчий русский прапорщик запаса.

Один из старых собутыльников прапорщика уже ловко подставил под него стул.

— Вы позволите? — гость незаметно уселся.

— Пива? — властно предложил Титто Керрозини.

— Ah, diable!—Хотя бы!

Роберт Поотс гостеприимно разлил по кружкам остатки пива и выжидательно поглядел на Сьюкки. Дик швырнул ему золотой огрызок.

— Последний! — с непередаваемой угрозой предостерег непьющий Анна Жюри.

Они давно уже успели раздробить золотой капитанский мостик на составные части, дабы тратить его не сразу и благородно дотянуть до прихода Корсара.

— Разрешите... попользоваться взглядом! — певчий прапорщик со вниманием осмотрел драгоценность. — Жевательная площадь почти уничтожена,— глубокомысленно прошептал он, — три единицы!

— Что?!

Титто Керрозини испытующе остановил на госте свой инквизиторский взор; певец внезапно встал, застегнул пиджак на все имеющиеся пуговицы и, несколько волнуясь, произнес:

— Позвольте представиться еще раз! Вы имеете перед собой квалифицированного зуботехника. Этому искусству научил меня мой профессор пения, mio профессоре, брат великого Карузо! — Он снова сел среди присмиривших моряков и звучно добавил:

— Маэстро говорил мне: «Одним голосом не проживешь; когда тебе нечего жевать, помогай жевать кому-нибудь другому, — и вы зажуеете оба!» Алло! Революционная психология — все за одного, один за всех!

— Понял, понял! — Дик Сьюкки радостно хлопнул себя по темени, — единица — значит, один зуб, три единицы — значит, три зуба!

— Совершенно верно. — И, успокоительно прикоснувшись к просмоленной ладони штурмана, прапорщик подозвал знаком старых собутыльников:

— Застрялов, Михаил Петрович — идейный экономист, Ван-Сук — коллега и голландец, Андрей Петров — фотограф-моменталист. Кумекают и по-английски!

— Ленив, но честен, — представился бледный фотограф. — С легким паром!

ГЛАВА ШЕСТАЯ,

не менее важная, в которой судьба снимает маску и прельстительно улыбается героям. Читатель же не в силах предостеречь их от пагубного пути

Слышали ли вы, как дьявол поет?

Стивенсон. —
«Вечерние беседы на острове».

Последний зуб лейтенанта был яростно пропит; дальнейшее угощение принял на себя коллега Ван- Сук. Девять взъерошенных голов сблизились над яичницей и, когда у стола появился Эмилио Барбанegro, его приветствовал только прапорщик интимным:

— Ну, как, выгорело? Садись, душка!

Остальные были погружены в новую жизнь. Корсар, сбитый с толку, скромненько отложил гармонику, снял плащ и присоединился. Друзья снисходительно кивнули ему и продолжали есть; только Дик Сьюкки взглянул на своего лейтенанта с заботливой жалостью:

— Что, сэр, намотались? Не стоило, право. Эх... ну-ну, кушайте побольше!

Оставалось приняться за угощение и во время жвачки пережить кое-как странный прием. Корсар так и поступил. Только когда трапеза была запита портером, Роберт Поотс поковырял спичкой в зубах и предположил:

— Я полагаю, что ваша экскурсия, сэр, не дала ничего нового в области...

— Дала! — хладнокровно отрезал Корсар.

Закоренелые сердца забили радостную тревогу:

— О, черт возьми, тысяча громов! А... Ну?

— Консул! Продает! Яхту!

Сердца забили отбой...

— Да, тяжелая история, — легкомысленно произнес прапорщик, поскребывая небритый кадык; при этом он подтянул кверху нижнюю губу и сощурил глаза.

— Вы! — сказал Эмилио Барбанегро, искусно задыхаясь. — Вы, которые не моряки, и вы, незнакомец, — обратился он к прапорщику, — у которого глаза цвета вши (я говорю это не в обиду, а из-за печени). — Внимание! Еще день, и мы останемся за бортом и прочее в этом духе. Гибель, гибель! Но сильная душа знает, что она говорит. Я говорю — мы спасены!

— О! — вырвалось из бушующей груди Титто Керрозини.

— Тля! — бросил лейтенант в его сторону и продолжал: — Внимание! Я — думаю.

Присутствующие выжидательно открыли рты.

— Это он просто гак, — сконфуженно прошептал Дик Сьюкки фотографу-моменталисту.

— Фря! — бросил в их сторону лейтенант и медленно взвесил три слова: — Мы... купим... яхту...

— Не может быть?.. — прожужжал Роберт Поотс пересохшими губами.

— Гнида! — снова бросил лейтенант, потом стукнул кулаком по столу и оглушительно повторил: — Это все!

Он наклонился к уху оранжевого штурмана, чтобы членораздельно прошептать:

— Отныне мы контрабандисты, старина!

Когда предложение безумного Корсара с трудом добралось до сознания слушателей, экономист Застрялов — друг животных и идеолог эмиграции, — погладил себя по голове и легонько задал роковой вопрос:

— Дозвольте осведомиться, сэр, о цене?

— Пустяки! — небрежно пожал плечом Корсар, — двадцать-тридцать тысяч. — Он и виду не подал, что эта цифра, произнесенная вслух, ошеломила его самого.

— В какой валюте? — мягко присосался экономист.

— Там разберутся, — усмехнулся Барбанегро.

Кое-кто из матросов дерзко присвистнул, кто-то выругался. «Бездарность!» — процедил сквозь зубы итальянец.

Но Корсар и Застрялов с деланным — у каждого по-своему — спокойствием допили пиво. Идеолог стал протирать очки, чтобы не встретиться на всякий случай взглядом с лейтенантом; потом, презирая шум, тихо и вдумчиво сказал:

— Я понял вас. Дозвольте подвести базис... Милостивый государь! Понятие купли-продажи в древние века...

Барбанегро грозно нахмурился.

— ...И в наши дни имеет два подсмисла: во-первых, купить — собственно говоря, купить, и во-вторых, купить — в частности говоря, купить. Итак, обратите внимание, мы имеем два слова: собственно и частное. Если свести их в общее понятие, получится частная собственность, следовательно...

Морщины на челе Барбанегро удесятились от доверчивого внимания. Вдруг между собеседниками вошел клином длинный, вздернутый, пестрый и значительный нос голландца Ван-Сука.

— Не будь я Голубой рыбой, — вкрадчиво, но хрипло произнес Ван-Сук, — не будь я прозван на страх врагам Голубой рыбой, если я не попрошу вас, джентльмены, на пару слов!

Взволнованному лейтенанту во мгновение ока приоткрылось коварство застряловских речей:

— Подлец и собака! — на всякий случай прогремел он в лицо философу. — Впрочем, если хотите, я возьму свои слова обратно!

— Возьмите, — поощрил Голубая рыба. — Пройдемтесь-ка лучше все вместе на двор.

Наглядно поборовшись с совестью, лейтенант встал. За ним поднялись Застрялов и Ван-Сук. Команда насторожилась. Титто Керрозини мрачно блеснул глазами:

— Гадалка предсказала мне, что я дважды потеряю честь. Будь что будет, я пойду за ними!

Ван-Сук ласково ткнул его под ребра...

— Господа, я тоже хочу!

Это был певчий прапорщик. За ним к уходящим молча присоединился Анна Жюри. Злобно моргая и гримасничая,

он так ворочал шеей, будто мягкий воротник его матроски был накрахмален и высок.

Когда боковая дверца «Оригинальной вдовушки» захлопнулась, оставшиеся переглянулись и вздохнули.

— Как ты думаешь, что с ним ? — спросил Дик Сьюкки у Юхо Таабо, и Гроб пробормотал нечто среднее между «дуговой фонарь» и «у меня когда-то была матушка»...

ГЛАВА СЕДЬМАЯ,

*в которой герои начинают скрывать от читателя свои
планы, а яхта «Парадиз» на фоне лунного неба
приобретает профиль невинной жертвы*

Боже мой, какой бедлам,
какой странный бедлам!

Ж. Д ю а м е л ь. —
«Цензурный перифраз».

Эта четверка — штурман, Поотс, Гроб и фотограф — не выдержала; она застала заговорщиков на черном дворе, между цветущей азалией и глиняной уборной; там решено было перенести совещание на борт «Парадиза». И следует, наконец, пояснить, что капитан яхты — розовый, седой, кудрявый триентец — находился, по обыкновению, в долгосрочной отлучке. В дела яхты триентец не вмешивался, а если к нему приставали изредка, сухо отвечал:

— Оставьте меня, я адриатик и паралитик. — Он подразумевал Адриатическое море и свою склонность к семейной жизни.

Итак, капитана в некотором роде не существовало, а заместителем его, как будто, числился Эмилио Барбанегро. Команда злосчастной яхты, отчаявшись в получении жалования, давно разбрелась, и наши знакомцы оставались последними могикианами «Парадиза».

...Заговорщики вернулись в порт и втиснулись в ялик. Неустойчивое суденышко прошмыгнуло в тени широкозатых барж и скользнуло на волны Золотого Рога. Яхта «Парадиз» стояла поодаль на якоре. Она имела непринужденно-светский вид. Ее темпераментный нос трепетал, как боевая стрела, тонкие мачты элегантно взлетали в небо, а прекрасный, но приличный бюст мог служить живым примером сдержанности. Опытный взгляд Ван-Сука опреде-

лил, что суденышко сшито на славу, выносливо и в ходу не сдает.

Идеолог ахнул:

— Вещь в процессе становления! «Парадиз», милсдари! Неплохое было название, милсдари!.. Но где тут идеология? где? где базис?

Ван-Сук нетерпеливо перебил его:

— Плавали?

— Стой! — поднял палец философ. — Хи-хи, не будь я Застрялов! Что такое «Парадиз»? — Рай и буржуа! А что такое «Паразит»? Мы в раю, и мы на буржуа! Яхта «Паразит»! А, милсдари, а? Каково?

Но ялик ткнулся в борт яхты, Застрялов подавился собственным языком, и друзья, рассчитавшись с лодочником, оживили тихое, как заповедник, судно.

— Иуах! — вдруг завыл певчий прапорщик, с размаху садясь на палубу: перед ним белело обширное и неустойчивое привидение...

— Здравствуйте, Фабриций! — бодро обратился к призраку Эмилио Барбанегро.

— Здравствуйте, сэр, — уныло протянул призрак, — имею честь доложить, что на вверенной вами яхте все обстоит благополучно. Я подам вам чаю с вишневым вареньем.

— Это повар и его животное! — радостно объяснил новоприбывшим Дик Сьюкки.

Неверное пламя свечей, шумно зажженных лейтенантом, отразилось в глубине зеркал и полированного дерева. Кают-компания была обита красным бархатом; добродетельное пианино хранило сентиментальные упражнения Шопена; над пианино, в клетке, болталась желтая канарейка отсутствующего капитана, а с противоположной стены на птичку взидало благочестивое чучело орла, держащее в когтях розовый электрический лампийон. Кают-компанию обегало голубое ожерелье иллюминаторов.

Не успели гости рассестись, как верный Фабриций принес невинное угощение. Лейтенант, отрывисто поблагодарив, пригласил кока присоединиться к компании и взять на себя роль хозяйки дома. Кок и его животное с достоин-

ством согласились. Увидев незнакомую публику, животное спешно переменялось в цвете из серого в зеленый. Это был небольшой, хорошо воспитанный хамелеон, с которым Фабриций никогда не расставался и которого посвящал во все свои интимные дела. Хамелеон постоянно сидел на плече у хозяина, лениво позевывая и производя странные манипуляции своим длинным тупым языком. Под эгидой этого таинственного чудовища, кок Фабриций выглядел серым и невзрачным. Можно было только установить, что он непомерно толст, бледен и облачен в белоснежный докторский халат.

— Он странный человек! — с ударением предупредил прапорщика Титто Керрозини.

— И он будет нашей совестью, когда наши сердца очерстеют в боях! — подхватил лейтенант, осторожно кладя руку на хамелеонное плечо кока.

Фабриций оставался равнодушен, спокоен и скромен. Очевидно, роль хозяйки дома весьма подходила ему в том распространенном смысле, что женщина занимается смягчением нравов и укреплением душ. Заговорщики аккуратно пили жидкий чай, заедая его пресным, но ароматным вареньем. Наконец, голландец Ван-Сук приступил к делу:

— Ночь проходит, — хрипло произнес он и тихо обратился к Барбанегро: — будет ли соучаствовать этот человек с животным?

— Да, — твердо ответил лейтенант, — он все равно не может уйти с яхты: он очень толст.

Голубая рыба облегченно вздохнул и уже громче задал второй вопрос:

— Запас горючего?

— Три рейса и хвост.

— Великолепно! Запас продовольствия?

— Два дня, — промямлил повар, посоветовавшись с хамелеоном.

— Купим в Трапезонде, — решил Голубая рыба. — А турецкий язык?

Титто Керрозини быстро поднял два пальца:

— Позвольте! Я знаю все языки!

— О?! Хорошо! Я тоже. Кроме того, купим самоучитель.

Роберт Поотс нервно потер руки. Теперь он догадался обо всем, во что заговорщики не успели еще посвятить его. Дик Сьюкки, теряя рассудок, беспомощно зажал в кулак мизинец Юхо Таабо. Анна Жюри прополоскал рот воздухом и с мученическим выражением высвободил шею из несуществующего крахмального воротничка. Узкие розовые глаза вегетарианца горели нравственным возбуждением:

— Под чьим флагом? — вызывающе спросил он.

Заговорщики не успели переглянуться, как Эмилио Барбанегро был уже на другом конце кают-компания с руками, скрещенными на груди, и высоко поднятой бородой:

— Да здравствует Испания! — воскликнул он. — Мы выйдем под испанским флагом!

Титто Керрозини тигровым прыжком перенесся под клетку с канарейкой:

— Извините, пожалуйста! — просвистел он, изрыгая пламя. — Что есть Испания, как таковая? — Провинция Рима! В переносном смысле — итальянская колония! Неужели вы дадите флагу рабов реять над домом патрициев? Пиратство — древнейшая профессия и историческая прерогатива Италии! Только флаг Италии будет водружен на мачте «Парадиза», и защитой от судьбы нам будет служить фашистская свастика!

Он скосил глаза, заслышав кудахтанье и квохтанье, всегда предшествовавшие речам Анны Жюри.

— Ко-ко-ко! — наконец, удосужился последний. — Швейцария тоже неплохая страна! Французская Швейцария — наша дорогая мать! и я не предлагаю швейцарского флага только потому, что ей не подобает заниматься пиратством! Только потому, — имейте это в виду!

— Заплюйтесь! — робко предложил русский прапорщик, вытягивая под столом ноги. — Заплюйтесь, пожалуйста! Только русский трехцветный флаг! И с орлом. Ах, штандарт, штандарт!

По следам соотечественника засеменял голосок экономиста:

— Подводя, милостивые государи, под пиратство идеологический базис, предпочтительное первенство следует отдать нашей дорогой союзнице — Англии!

При слове «Англия» Барбанegro и Керрозини, продолжавшие стоять друг против друга с выставленной вперед ногой и пылающими глазами, одновременно подняли кулаки:

— Долой! — прогремели они на разные голоса. — Позор, позор!

Но щелкающий хрип голландца положил конец препирательствам:

— Ночь проходит, не будь я Голубой рыбой, — сказал Ван-Сук, — ночь проходит. — Он попеременно встретился холодным взглядом с глазами лейтенанта и Керрозини. — Для безопасности, экономист прав.

— Да, да, он прав, — уныло прошелестел ничего не понимающий повар, — ночь проходит, и животное спит... Английский флаг всегда безопасен.

— Для безопасности! — с горьким сарказмом развел руками Корсар.

— ...безопасности! — заскрежетал зубами Керрозини.

Они заправили свои длинные волосы за уши и вернулись к столу.

— Пора машине! — заключил голландец: он торопил события.

Лейтенант, грозно шевеля челюстями, поглядел на Роберта Поотса и Юхо Таабо. Последний вытащил свой мизинец из кулака Дика Сьюкки и, тяжело ступая, покинул кают-компанию.

— Я предвижу, — сказал Роберт Поотс, — что с машиной благополучно. И я полагаю вступить в исполнение своих обязанностей.

Видя, что челюсти Корсара продолжают шевелиться, он проследовал за финляндцем.

— Итак, мы пираты! — лейтенант вздохнул. Керрозини дерзко поглядел на него.

— А череп и кости*, лейтенант?

— Теперь уже капитан, — небрежно поправил голландец. — Что ж, можно и череп с костями для устрашения!

По спине Барбанegro пробежала легкая судорога.

Из машинного отделения донеслись взрывы проснувшегося мотора. Четыре матовых лампы в кают-компании и розовый лампцион орла медленно наполнились электрическим дыханием и погасили в иллюминаторах наступающий рассвет...

* Атрибут. Красуются на пиратском флаге.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ,

*красивая, в которой открываются широкие горизонты,
бьются мужественные сердца и в голубой перспективе
реет черное знамя пиратов*

В моряке сильнее вера
В чудеса, чем в прочих людях:
Перед ним ведь вечно блещет
Огнедышащее небо...
Песня старой няни Куки
Для него была порукой.

Генрих Гейне. —
«Бильяни».

В каюте своей суперкарго Ван-Койк
За книгой сидит и считает...

Ibidem. —
«Невольничий корабль».

Кривое, пасмурное небо вспотело, как крышка алюминиевой посуды, но Босфор все еще не просыпался. Шел четвертый час утра. Редкие порывы тяжелого западного ветра приносили на палубу запах береговых испарений.

— Греческая кухня... — уныло покачал головой повар Фабриций. — Она будет нас преследовать.

Хамелеон улыбнулся и щелкнул языком.

На легком капитанском мостике стояла трагическая фигура Корсара. В одной руке ее красовался, как атрибут, черный мегафон*, в другой — подзорная труба. Но бури не предвиделось. Дик Сьюкки, огражденный от внешнего мира своей рыжей растительностью, уже стоял на посту у ру-

* Рупор.

левого колеса и напевал старинную песенку:

Где мой зеленый какаду? —
Есть, капитан!
На виселицу мы идем, —
Пой, птичка, пой!..

Куда ушла мадемуазель?—
Есть, капитан!
На виселицу мы идем, —
Пой, птичка, пой!..*

Капитан Эмилио смахнул непрошенную слезу и оглядел константинопольский горизонт.

— Поднять якоря! — прогремела первая команда.

— Есть поднять якоря, капитан!

Лебедка злорадно завизжала, наматывая на барабан громыхающую цепь.

— Прямо смотреть!

— Есть прямо смотреть, сэр! — оранжевый штурман зажал рулевое колесо.

Корсар перегнулся через поручни и бросил в машинное отделение:

— Вперед!

Яхта вздрогнула и пошла, рассекая маслянистую воду Босфора. На палубе, у подножия фок-мачты, певчий прапорщик, идеолог Застрялов и фотограф-моменталист возились над какой-то черной тряпкой. Это была потертая саржевая подкладка капитанского плаща. Около идеолога стояла небольшая банка с белой эмалевой краской, в которую безмятежно-спокойный фотограф макал огромную кисть, не приспособленную для тонкой работы. На черном фоне уже красовалась половина талантливо исполненного чере-

* Перевод И. А. Аксенова.

па и пара скрещенных костей. Знамя пиратов было почти готово...

В это время Ван-Сук, сидя в богатой, но с некоторым вкусом обставленной каюте, высыпал на столик содержимое своего кошелька. Он насчитал всего сто турецких лир и несколько потертых английских фунтов. Половину этой суммы он должен был вложить в предприятие и взять на себя, таким образом, роль пиратского мецената. Голландского пожертвования вполне хватало на покупку продовольствия в ближайшем порту; вторая половина предназначалась на общее обзаведение. Пестрый нос Голубой рыбы имел спелый и счастливый вид.

Яхта летела вперед. Солнце в это утро встало бледным и полным, как повар Фабриций. Его свет казался почти прозрачным, и мелкие, крутые волны постепенно принимали тревожный оттенок того перламутрового яйца с сюрпризом, которое Дик Сьюкки подарил когда-то, на прощанье, своему маленькому племяннику... В лица пиратов бил вольный ветер, а по палубе прыгала странная сторбленная фигура, укутанная с головой в темное одеяло, — это фотограф-моменталист, покончив с флагом, ловил в объектив образ капитана, гордо застывшего на ажурной построечке.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ,

в которой яхта «Паразит» начинает влиять на окружающую обстановку и, следовательно, живет, а характеры действующих лиц принимают все более причудливые формы

О, посланники божии! питайтесь яствами
приятными на вкус; упражняйтесь в добрых
поступках; мне известны деяния ваши.

Коран.
Гл. XXIII, стих 53.

Прочь, прочь от проповедей его!

Коран.
Гл. XXIII, стих 38.

В одной из узких улиц города Трапезонда, прославленного Байроном и бубонной чумой, под дырявой сенью высохшего платана, сидел на ковре пожилой, бородатый турок. Его унылый караван-сарай, или, в переводе — двор для приезжающих, стоял тут же, горестно подпирая худой, коstitialной палкой свой ветхий навес. Постоялый двор Хайрулла-Махмуд-Оглы не пользовался популярностью ввиду отдаленности от базара и кофеен; еще вчера хозяин окончательно подвел итоги нищеты, а сегодня уже собирался зарезать последнюю овцу, которая до глубокой старости не нашла покупателя. Овца веселилась, по мере сил, тут же неподалеку, не предвидя последствий. Поделиться горестями старику было не с кем, ибо соседи и сверстники давно презрели его нудный характер, не исправлявшийся даже в счастливые ночи Рамазана. Случайно заглянув в конец узкой улицы, Хайрулла-Махмуд-Оглы тревожно зашевелился и, дабы сохранить самоуважение, втянул отвислый живот. Прямо к караван-сарая направлялись два европейца,

только что остановившие на углу для кой-каких расспросов зловредного сынишку сапожника! Один из европейцев был, пожалуй, молод и бесцельно, но изящно побалтывал у впалой груди мягкой бледной рукой. Старший, криво-плечий и сильный, носил со штатской небрежностью черный клеенчатый плащ и пестрый нос, вооруженный огромными ноздрями.

Поравнявшись с турком, оба иностранца остановились и старший, непринужденно роя ногой землю, обратился к младшему на скверном турецком языке:

— Есть ли это тот прекрасный двор и тот прекрасный хозяин?

— Э-э... Селям-алейкум! — сладостно запел другой, обращаясь к изумленному хозяину. — Да будет рыба над тобою!

— Алейкум-селям! — отвечивал турок. — Твой голос, о чужеземец, слаще меда, источаемого гуриями, и кушанья, приготовляемого при помощи деревянного гребешка из бараньего жира и сахара, в виде длинных, золотистых волос, которые постоянно растут на голове у европейских женщин!..

Обладатель пестрого носа ответил за спутника грубым басом, но не менее любезно:

— Хотя я не имел чести вкусить, о досточтимый, этого кушанья, запах которого щекочет мои воображаемые ноздри, а моя жена плешива, как суповая миска, тем не менее мы, в общем, польщены, и да удостоится твой язык лучшей участи, чем расточать и прочее...

Обмениваясь подобными любезностями, они, однако, не более чем в полчаса, добрались до сути дела. Узнав, наконец, в чем заключается эта суть, турок заерзал от радости на своем дохлом ковре и снова распустил непокорный живот: европейцы изъявляли желание нанять его каравансарай, произвести ремонт, платить двадцать пять лир в год и, в знак уважения, дать задаток! Нечего и говорить, что предложение было принято; получив часть денег, турок растроганно прижал к себе единственного друга — чудесно спасшуюся овцу.

На обратном пути в порт, знатные иностранцы (ну, разумеется, это были голландец Ван-Сук и русский прапорщик!) удовлетворенно помалкивали. Все шло великолепно: хозяин постоянного двора обязался приготовить к завтраму помещение для новых хозяев.

В портовом кабаке их ожидали самые нетерпеливые из команды «Парадиза», уже переименованного, по предложению Застрялова, в «Паразит» — Титто Керрозини, Анна Жюри и фотограф-моменталист; француз был не в духе: первое подготовительное плавание покрыло его позором в глазах капитана и штурмана, — дважды он перепутал корму с носом и четырежды претерпел морскую болезнь! В данное время, привалившись к кабацкому столику, он рассматривал на свет негативы, запечатлевшие образ «Паразита» и героического капитана.

— Есть, господа! — торжествующе сообщил прапорщик и обратился к фотографу по-русски: — Дело в шляпе, Андрюшка! Я жить хочу!

— Что ж! можно и жить, — без особой радости ответил моменталист, не отрываясь от работы: он ретушировал черной кисточкой лицо Эмилио Барбанegro, оттеняя роковые черты.

— Время перманентно проходит, — сухо доложил Ван-Сук (ни на минуту он не переставал чувствовать себя деловой совестью коллектива), — время проходит. Итальянец, ты должен скорей допить свое пойло! Торговый дом Сук и Сын не ждет. Француз, ты можешь радоваться: мы с капитаном, учтя твое незнакомство с морским делом, решили перекроить тебя в повара! Фабриций получает повышение.

Честь Анны Жюри была до некоторой степени спасена; лицо его загорелось торжеством.

— Повара? — закудаhtал он. — Ко-ко, я согласен! Имейте это в виду!

Керрозини подозрительно скосил глаза, и его худшие опасения не замедлили оправдаться: — француз продолжал:

— У нас будет прекрасный вегетарианский стол! Ко-ко, я никого не ем! Это моя специальность.

Итальянец нервно стиснул свои красивые руки:

— Я муссолинец благородного происхождения! Я буду есть скорей ничего, чем никого! Я — человек-тигр! Я не позволю!

Он со школьной скамьи исповедовал странную философию, делившую все человечество на два лагеря: тигров и быков. Тиграми, согласно этой прикладной науке, могли считаться люди смелые, блистательные и, главным образом, красивые, а быками — полная противоположность тиграм. Разумеется, годы и судьба потрепали бедного Титто, память его полиняла, но своей философии он не изменил; лишь поневоле он несколько раздвинул рамки этой туманной дисциплины, введя в нее два новых разряда — овец и козлов отпущения!

— И что будет делать наш старый повар? Бездельничать? Дорогие товарищи!..—продолжал итальянец.

— Время проходит, — констатировал вместо ответа Голубая рыба, — возьми деньги, повар, возьми деньги на продовольствие, возьми! — Анна Жюри с легким горловым стоном принял из рук голландца двести франков, семь шиллингов, три чентезима и один пиастр...

Вся компания, ворча, покинула кабак, чтобы поспеть на яхту.

Именинник «Паразит» ждал их в небольшой потайной бухточке верстах в десяти к востоку от Трапезонда. Уже спускаясь с тропинки, они слышали громовую декламацию Корсара:

— О, да! ха-ха-ха! Ты прав, отец! Нет сердца более нежного, чем сердце пирата, и души, более способной к покаянию!

Выждав несколько секунд, заполненных, вероятно, чьим-то неслышным ответом, он продолжал:

— И в дни, когда ржавая кровь на моих руках будет дымиться и взывать ко мщению, ты отпустишь мне грехи, ибо такова обязанность патера, и бог волей-неволей будет вынужден поступить по-твоему, хотя у тебя нет сана!

— Он говорит с поваром, — снисходительно пояснил Голубая рыба, расставшийся в этот день с капитаном позже других.

С яхты их заметили: от левого борта отделилась маленькая моторная шлюпка. Пять минут спустя, в капитанской каюте, за дымящимся грогом, товарищи поздравили друг друга с благополучным начинанием и подняли стаканы за здоровье новорожденной конторы Сук и Сына. Когда первый энтузиазм прошел, Корсар произнес нарочито простой и отрывистый тост: «Выпьем за повара и его животное. Они будут у нас вроде корабельного священника. Гип!»

ГЛАВА ВТОРАЯ

*о дальнем плавании, о фотографии, о морском разбое
и многих других прекрасных вещах*

Ночью все звери джунглей живут иной,
полной дикой прелести жизнью.

Р. Киплинг. —
«Джунгли».

Пятнадцать человек на ящике мертвеца.
Йо-хо-хо и бутылка рому.

Р. Л. Стивенсон. —
«Остров сокровищ».

Был ветреный, соленый вечер, когда яхта «Паразит» вышла на первый промысел. На западе кусками застывшего бараньего жира висел закат. Лиловое небо с хвойными перистыми облачками, казалось, отражало море и пену. Скоро сиреневые волны сменились волнами цвета пивной бутылки, а за облаками проступили, с прочностью ржавых гвоздей, темноватые звезды. Низко над морем взошел Марс, большой, медно-красный и злоеший, ибо год наших приключений был годом наибольшего приближения Марса к земле! Титто Керрозини стоял на корме со взором, устремленным на эту планету, покровительствующую войнам, грабежам и фабрикантам. Он томился и, по обыкновению, ощущал в душе пустоту, требующую затычки, — пустоту вроде той, что чувствуют в своем теле старые девы.

— Быть удаче! — подбодрил он себя: — я суеверен, как Муссолини!

За спиной итальянца послышался унылый голос:

— Сын мой, нехорошо быть суеверным. Ведь сила внутри нас!

Это были повар и его животное. Они уже покинули кухню, чтобы привыкнуть к хлопотливой роли миссионера. В камбузе над синими листьями капусты и стручками бобов возился теперь Анна Жюри.

Священнослужитель продолжал бубнить:

— Кроме того, помни, что все мы равны перед господом богом и капитаном! Все мы живем в каютах, а не в кубрике! Обрати внимание, чадо, что у нас нет простых матросов, — сегодня сам капитан мыл палубу, а завтра моешь ты, возлюбленный!

Хамелеон ласково подмигнул, но Титто нахмурился:

— Необходима иерархия по личным заслугам! Большому кораблю большое плавание. Я — честолобец!

Духовенство беспомощно пожевало губами, уныло вздохнуло и удалилось, шаркая войлочными туфлями, на шканцы. Начинаясь качка. Титто Керрозини, опасаясь приступа морской болезни, закинул, по рецепту Анны Жюри, голову и широко расставил ноги. Высоко на мачте он увидел чью-то тень: это фотограф-моменталист озирает в подзорную трубу будущее поле битвы. Время от времени тень сползала с мачты, куда-то удалялась и снова вскарабкивалась на свой наблюдательный пост. По капитанскому мостику крупными шагами кружил Корсар. Наконец, он остановился сам и остановил слезавшую тень фотографа:

— Куда? куда, гнилая кишка! Тошните, не сходя с места!

Фотограф засопел, как испорченный граммофон, потом тихо, но твердо ответил:

— Я не хочу тошнить, капитан. Я сползаю посмотреть — сохнут ли мои негативы.

— Что?!—загремел Корсар.

— Негативы,— внятно прошептал специалист, — негативы! — вид на море утром и вид на море вечером, ваше лицо сзади и ваше лицо спереди!

— А-а, ладно... — капитан успокоился, — но помните, что бы ни показалось на горизонте, вы должны кричать.

При мысли о чужом успехе в жизни, Титто Керрозини сжал кулаки. Это усилие не прошло ему даром: бурная ду-

ша его подступила к горлу, и бедному итальянцу пришлось трижды перегнуться через борт. Не успел он отдышаться, как тень фотографа крикнула резким фальцетом:

— Луна с правой стороны, сэр!

Вместо того, чтобы рассвирепеть, капитан мягко ответил:

— Это ничего не значит, дитя мое! Это — пустяки. Случается. — Фотограф явно становился любимцем Корсара.

Скоро, однако, Барбанегро перестал кружить по мостик и крикнул Роберту Поотсу, возившемуся у машины:

— Пора! Застопорить! Остановить! Залечь! Ждать!

Последние два глагола относились ко всему экипажу. «Паразит» замер и притаился, как тигр в джунглях. Выеденная луна, поданная на десерт после заката, истекала вялым арбузным светом. От Марса протянулась по воде скверная, багровая полоса. Волны сбивчиво приставали к бортам «Паразита». Наконец, фотограф, обескураженный первой неудачей, робко заявил:

— Обыкновенный парус.

Корсар схватил бинокль и убедился.

— С нами бог! — воскликнул он дрогнувшим голосом, — за дело, Роберт!

Поотс и Таабо снова пустили в ход машину. Над яхтой развернулась бывшая саржевая подкладка, украшенная черепом и костями.

Небольшой парус чертил по горизонту не далее, как в трех кабельтовах. Корсар пожелал самолично вести яхту к первой победе: он спустился с мостика, подбежал к Дику Сьюкки и принял из его рук рулевое колесо; оранжевый штурман сконфуженно гмыкнул и остался без дела за спиной капитана. Расстояние между преследователями и жертвой заметно таяло. Скоро можно было ясно разглядеть одну из тех чахлах турецких фелюг, в каких обыкновенно провозят арбузы, дыни и контрабандный товар. С фелюги заметили погоню; парус круто повернул и пошел по ветру. У яхты было огромное преимущество в быстроте. Теперь уже расстояние уменьшалось с катастрофической ясностью.

— Шлюпки!—скомандовал капитан и заорал на все Черное море: — Сдавайся! Стреляем!

С фелюги раздался отчаянный визг, и у борта ее показалось несколько фигур с поднятыми вверх руками.

— Как трясутся эти конечности на фоне лунного неба! — указал капитан фотографу на это действительно жалкое зрелище.

Блоки «Паразита» яростно взвизгнули, и моторная шлюпка, нагруженная Диком Сьюкки, Титто Керрозини и Робертом Поотсом, коснулась поверхности воды. Не прошло и нескольких минут, как пожилые турки сдались без сопротивления. Титто Керрозини первым вскочил на завоєванное судно и приставил дуло револьвера к переносице самого пожилого. Не изменяя положения, он учинил короткий допрос на турецком языке.

— Кто вы такие?

— Мы — честные турецкие рыбаки.

— Куда вы плывете?

— Мы плывем ловить рыбу.

— Имеется ли у вас контрабанда?

— Нет, я не имею контрабанды, но наша фелюга имеет много контрабанды!

— Кому принадлежит эта контрабанда?

— Эта контрабанда принадлежит, — я не могу повернуть голову, потому что вы держите револьвер — тому, кто стоит около моей левой руки.

Титто Керрозини дьявольски захохотал:

— Тащи! — приказал он пленникам, а шлюпке бросил по-английски: — Готовсь!

Удрученные контрабандисты заерзали под сетями, снастями и веревками, вытаскивая деликатные ящички и свертки. Дважды переполненная шлюпка возвращалась в лоно «Паразита». В третий раз она доставила на борт яхты торжествующего Керрозини с небольшим ручным багажом.

— Ром и подтяжки! — провозгласил он, хлопнув по мешку цвета хаки.

По палубе прокатились восторженные клики. Капитан Барбанегро вытянул руку:

— Я говорю: вы молодцы и моряки! — потом он приставил ко рту мегафон и обратился к фелюге: — Ваш путь свободен!.. Порто-франко!

Фабриций, топтавшийся рядом с капитаном, воздел, по собственной инициативе, руки горе:

— Мужайтесь, дети мои! — уныло сказал он, обращаясь к ограбленным. — Благословляю вас. Блаженны нищие, и бог не оставит вас, как и мы не оставляем должников наших. Аминь!

— Пускай! — торжественно подтвердил Эмилио Барба-негро и хотел отдать распоряжения к ужину...

— Другой обыкновенный парус с наветренной! — донесся голос фотографа-моменталиста.

Одним махом капитан был снова на мостике.

— Спустить вторую шлюпку! Титто обходит добычу справа. Роберт принимает командование на второй. На абордаж!

Шлюпки со свистом ринулись на несчастный парус, оставляя позади себя два пенистых следа. Так кровожадные тигры приминают девственную траву джунглей...

Менее, чем в пять минут, другая, также не решившаяся сопротивляться, лодка была настигнута и пленена, а в ненасытную шлюпку перекечевали новые контрабандные товары. Столь же безболезненно прошли ограбления третьего и четвертого судов.

В промежутках между подвигами пираты ели, пили и веселились. В кают-компании Анной Жюри был накрыт обильный вегетарианский ужин. Стол ломился от синей капусты с рисом, грибных шницелей, морковных бомб и вареных бобов. В стаканах не оскудевал ром, а недостающую пуншевую чашу для жженки заменяла еще неиспользованная ночная посуда из инвентаря яхты с игривой надписью: «Сальве», что в переводе на все живые языки означает: «Добро пожаловать». От этих мрачных наслаждений их время от времени отрывал резкий вопль сменяющихся вахтенных: «Жертва не ждет!» Тогда пираты возвращались к своей профессии, напевая короткую песенку:

Соло: Чего ты хочешь выпить, друг?

Хор: Ром, ром !

Соло: Что на тебе надето, друг?

Хор: Подтяжки, подтяжки!

В эту ночь, на 23 апреля 1926 года, были очищены три фелюги, столько же барок и одна рыбацья шхуна. Последняя доставила «Паразиту» только некоторое количество заграничного одеколona «Paradis perdu»*. Восьмая скорлупка, встреченная уже под утро, спаслась ввиду своей малой рентабельности: груз ее составляла честная черноморская сеledка.

— О, нет, нет! — сказал Корсар, отирая лоб новым шелковым платочком, — на сегодня довольно. Богатая добыча! Назад. В бухту пиратов.

Светало. Волны, казалось, отяжелели серебро-свинцовой рудой. Роберт Поотс, бледный и лоснящийся, как осетрина, вернулся в машинное отделение к неустоимому Юхо Таабо. Дик Сьюкки, не спеша, поплевал на руки и принялся за рулевое колесо. На мачте взвился английский флаг. «Паразит», игриво подрагивая бедрами, направился к берегу.

* Потерянный Рай (прим. переводч.)

ГЛАВА ТРЕТЬЯ,

*которая является прямым продолжением предыдущей и
вкладывает палец в рот рассеянному читателю*

Свернув паруса, неподвижно стоит
Невольничий бриг, отдыхая;
Но ярко на деке горят фонари,
И громко гудит плясовая.

Усердно на скрипке пилит рулевой,
Матрос в барабан ударяет,
Хирург корабельный им вторит трубой,
А повар на флейте играет.

Г. Гейне.

Лучшего начала нельзя было и пожелать. Скоро Эмилио Барбанегро отослал Дика Сьюкки отдохнуть с остальным экипажем, а сам остался порадоваться у руля. Железная рука Корсара уверенно направляла яхту к счастливым берегам; шишковатое чело бороздили думы.

Убедившись, что на палубе никого не осталось, он слегка помассировал свой вздувшийся от ночного пира желудок, отстегнул пару пуговиц и облегченно вздохнул; нижняя челюсть капитана немного отвисла, глаза потускнели: хотя план похищения яхты был выполнен блестяще, все же приходилось опасаться всякого рода каверз, которые не преминет учинить Лысая помеха.

— ...Подтяжки... — запросто рассуждал Корсар с природой, — я понимаю... Мы разбогатеем... Зачем в сапогах? В сапогах я на чистое не лягу!.. Окна выходят в сад... А яхту можем у консула купить... Как подобает, извинимся за беспокойство... О, мечты! — произнес он вслух.

Из легкой утренней дымки возник крутой серовато-лиловый берег, и Барбанегро направил нос яхты к точке, на

вид ничем не отличающейся от остальных. Однако, при более близком знакомстве, она напрашивалась на сравнение с мушкой испанского браунинга: в этой выемке, озерком вдавшейся в сушу, находилась знаменитая бухта пиратов, куда держал путь «Паразит». Защищенная с материка громадными обрывистыми скалами, эта бухта была доступна только с моря, но для посвященных, вроде Ван-Сука, в скалах имелись незаметные тропинки, лазейки под свалившимися камнями, пещеры, опять камни, небольшой лаз и тропинка к самой воде. Судя по отрывистым признаниям главы конторы, он уже не один раз бывал здесь, в бухте пиратов. Трапезонд голландец знал, как лицо должника; у него были там друзья-приятели, и с их помощью он надеялся быстро пойти в гору...

Эмилио Барбанегро осторожно провел яхту в бухточку и крикнул в машинное отделение:

— Стоп. Вы свободны, Таабо!

В утренней тишине, не нарушаемой больше равномерным стуком мотора, показалась промасленная физиономия Гроба; он с неопределенным любопытством поглядел на Корсара и направился в каюту на отдых.

Бессонная, полная поэтической деятельности ночь утомила и капитана. Он стал незатейливо поклевывать носом, но был разбужен звонким, веселым голосом:

— Доброе утро, дорогой начальник!

Над Корсаром извивался свежесбранный Роберт Поотс; в левом уголке его рта торчала огромная рыжая сигара; главный механик цвел, как ветка боярышника :

— Для начала блестяще, дорогой капитан!

Встрепенувшийся Барбанегро приготовился уже ответить фразой, в которой могли фигурировать «тайфун» и «тысяча чертей», как вдруг заметил на склоне одной из скал, окружавших бухту, тяжелую мужскую фигуру. Она довольно ловко спустилась по узкой тропинке и, стоя уже совсем близко к воде, неприятно, но приветливо закричала:

— Гуд морнинг!

— Алло, мистер Ван-Сук! — с достоинством ответил Корсар, узнав шефа и мецената пиратов.

И через пару минут к Ван-Суку любезно подошла, чтобы доставить его на яхту, свежая, серо-голубая шляпка.

— Дела? — спросил голландец, прибыв на палубу «Паразита»; его смутно раздражало, что палуба посыпана мягкими опилками, как пол гастрономического магазина. Деловитая натура Голубой рыбы усмотрела в этом излишнюю роскошь и дело вегетарианских рук Анны Жюри.

Вместо ответа Корсар повел голландца в трюм. Здесь в причудливом порядке лежали награбленные сокровища: шелковый трикотаж, галантерея, парфюмерия, аптекарские препараты и предметы дамской гигиены. При виде импорта у Ван-Сука потекли было слюнки, но он поспешно втянул их обратно, чтобы сохранить невозмутимый вид.

— Очень хорошо! — сказал он. — Вы деловые люди.

— Кто придет, чтобы унести сокровища в тайник? — спросил Барбанegro.

— Правильный вопрос, не будь я Голубой рыбой! — голландец пососал трубку. — Время, разумеется, проходит!

Вернувшись, в сопровождении капитана и Поотса, наверх, он поднес к губам дешевую детскую свистульку. В ответ с берега донесся гортанный крик удода. Два турецких амбала вылезли из какой-то береговой расселины и во мгновение ока уже сидели, сочувственно ухмыляясь, у самого синего моря. На яхте начался трудовой день. Роберт Поотс с лицемерной улыбкой классной дамы разбудил поочередно всю команду, за исключением Юхо Таабо, едва успевшего уснуть. Голландец и капитан, оба с трубками во рту и с руками в карманах, принялись руководить выгрузкой. Скоро весь товар был уже на суше. Амбалы взяли с собой все, что могли, — остальное, общими усилиями, было спрячено в небольшой выбоине скалы и засыпано сухим песком.

— Как будет выглядеть предприятие? — спросил Анна Жюри голландца, когда все было кончено,

Голубая рыба томно полужакрыв выпуклые стеклянные глаза и пожевал губами:

— Вы это увидите, мой друг, в следующей главе вашей деятельности! Контора Сук и Сын вырастет на славу.

— Бог не оставит нас! — вставил к слову патер Фабриций и, склонив голову набок, прислушался к хамелеону, который, казалось, что-то шептал ему на ухо.

— Бог и дьявол объединились, чтобы помогать нам, как обещано в Апокалипсисе, — заверил голландца экспансивный Керрозини.

— Какой простор! — безотносительно вздохнул капитан Барбанегро.

— Хм! — сказал Юхо Таабо, поглядывая на бухточку, стесненную скалами, и широко зевая после короткого сна...

И если верить кой-кому из участников героической прогулки, то именно в этот счастливый день была сложена песня, распевавшаяся впоследствии на всем протяжении их славы, на мотив «Оружьём на солнце сверкая»:

Страшней африканского негра
И ради нас спустится в ад
Эмилио Барбанегро,
Воинственный, храбрый пират!

И скоро пойдут хоть на Мурман,
Как самый пиратский матрос,
Дик Сьюкки — оранжевый штурман —
И Роберт по имени Поотс!

И с братской любовью кричит нам:
«Дружище, питайся и жри!»
Качаясь в дыму аппетитном,
Наш вегетарианец Жюри!

А вечером в курточке синей,
От франкского мыла душист,
Стоит на корме Керрозини,
Загадочный дуче-фашист...

И тоже, признаться, не баба,
Надвинув берет свой на лоб,
Колышется Юхо Таабо,
Финляндец по прозвищу Гроб!

А в общем, нам хватит отваги,
У нас в голове не сквозит!
Налейте ж, приятели, браги
И выпьем за наш «Паразит»!
Налейте ж, приятели, браги!
Да здоровствует наш «Паразит»!

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ,

в которой читатель получает урок плохих, но целесообразных манер. (Разрешается, как пособие, в младшем отделении буржуазного класса.)

Не верь, не верь себе, мечтатель молодой!

М. Лермонтов.

...И если путешественник или командированный сойдет на землю Трапезонда, чтобы прогуляться по припортовым улицам, он будет удивлен обилием западных контор и торговых представительств с внушающими доверие вывесками: «Пишущие машины, арифмометры, кассовые аппараты», «Автомобили, мотоциклы», «Патентованные резиновые изделия». За (иногда зеркальными) стеклами сидит по паре худосочных клерков, а вечером на высоких конторках горят светлые лампы под зелеными абажурами. Путешественник изумится: «Э, черт возьми! а я думал, что это не город, а какой-нибудь Круасси или Винница! Вот поди ж ты! Просто даже удивительно... И кому это нужно? — логически дойдет командированный. — Гм! Вероятно, Трапезонд как-никак большой город!» Последнее предположение автор спешит опровергнуть: город Трапезонд знаменит, но беден. Пишущие машины, арифмометры, патентованные бандажы здесь мало кому нужны. Если же читатель задаст резонный вопрос: к чему же тогда существуют эти конторы, — автор согласится приподнять завесу над их деятельностью: лакированная вывеска или запыленный велосипед в витрине — полумаска.

Однако, последние дни привели владельцев и клерков этих контор в подавленное настроение; деятельность перестала приносить плоды. Клиенты, один за другим, отсыхали от зарекомендованных представительств, как осен-

ние листья. Две малосильных конторы лопнули.

Рослый константинопольский турок отказался покупать в представительстве «Арифмометры» прекрасный синий шевиот № 3003 по законной цене. Бранясь и прощаясь, он сообщил потрясенным клеркам, что «Торговый дом Сук и Сын Масло-Керосин-Нефть» продает мануфактуру на пятнадцать процентов дешевле. Известие о голландском предательстве произвело действие разорвавшейся бомбы.

— Я всегда говорил, что их географическое положение не внушает доверия! — изрек старейший из припортовых финансистов.

В тот же день было созвано экстренное совещание о мерах борьбы с Сук и Сыном. Оно прошло необычайно дружно и приняло проект об общем снижении цен на двадцать процентов, — дабы в корне пресечь дальнейшие поползновения местной Голландии. Однако, не успело это постановление войти в силу, как на утро следующего же дня голландская контора начала продавать свои мануфактурные и галантерейные товары на двадцать пять процентов ниже первоначальной стоимости! Старейший финансист изрек:

— Я всегда говорил, что эта нация любит требовать отступного.

К Сук и Сыну была отправлена разведка в лице трех самых мелких капиталистов, которым терять было нечего, кроме самообладания. Войдя в узенькую улицу, далекую от центра и изобилующую сапожниками, разведчики в десятый раз удивились странному местоположению конторы, потом, с глухим надрывом, полюбовались новенькой эмалированной вывеской и вошли в бывший караван-сарай Хайруллы-Махмуд-Оглы.

Торговый дом Сук и Сын помещался в отдаленном конце верблюжьего двора и выходил крошечными окошечками на суровую турецкую террасу. Внутри конторы разведчики увидели традиционную лампу с зеленым абажуром и двух клерков, склоненных над бумагами. Первый клерк был деликатного сложения, обладал множеством прыщей и картавил; второй украшался лишь огромными очками в

роговой оправе и длинной философской шевелюрой. При виде вошедших первый почесал кадык, а второй протер стекла очков. На вопрос разведчиков, можно ли видеть главу предприятия, оба одновременно ответили:

— Да, но... — и снова склонились над бумагами, так как внутренняя дверь помещения раскрылась, и на пороге показался виновник торжества. Он курил короткую глиняную трубку, а возраст его было так же трудно определить, как возраст вяленого осетра.

Разведчики внезапно почувствовали себя неприлично прозрачными и даже несуществующими, ибо голландец внимательно глядел сквозь каждого из них на стенку. Потом он высокомерно выпустил голубой клуб дыма и небрежно бросил по-английски прыщавому клерку:

— У меня был кто-нибудь, мистер Гурыф?

— Да, сэр, несколько минут тому назад вас спрашивали, сэр!

— Да? — безразлично переспросил Ван-Сук и случайно заметил три подавленные его великолепием, но начавшие материализоваться фигуры. — Это вы ?

— О, да, мистер Сук! — ответил наиболее находчивый из визитеров.

— Чем могу служить, господа? — сурово спросил голландец.

Находчивый поправил манжеты:

— Будучи представителями торгового мира Трапезонда и видя в вас одного из новых соратников на поприще, мы пришли засвидетельствовать вам свое почтение и, хю-хю, так сказать, пригласить принять участие в поприще... — он иссяк и стал смотреть, как голландец набивает свою глиняную трубку.

Покончив с этим занятием, Ван-Сук вдоволь откашлялся и произнес:

— А-а! Это хорошо, господа, будем друзьями. — Неожиданно и круто он закончил: — Но господа должны извинить меня, так как срочные дела требуют моего отсутствия. — Голландец повернулся вполоборота к дверям своего кабинета и, уже приподняв одну ногу для широкого шага,

произнес:

—Будьте здоровы!

Три фигуры, вновь переставшие существовать, испарились во двор караван-сарая.

Во дворе, очухавшись и отерев потные затылки, они заметили нескольких амбалов, боровшихся с огромными тюками. Несмотря на то, что вывеска торгового дома Сук и Сына возвещала торговлю горючими материалами, под террасой действительно стояли три бочки с бензином!*

— Крышка! — прошептал один из неудачных разведчиков, — такого голыми руками не возьмешь... Орел!

Другой только шумно выдохнул:

— Вот это — да!

* Горючее для «Паразита» [А они (визитеры) не знают] (*прим. автора*).

ГЛАВА ПЯТАЯ,

с участием лучших сил природы, — проникнутая человечностью, космическим мироощущением и отсутствием памяти

Он переживал, казалось, усталость несложной души.

К о н р а д.

Черное море становилось раздражительным; по утрам дул резкий ветер. «Паразит» буйствовал. Фелюга за фелюгой складывали свою дань в его утробу, где копался, как солитер, среди консервов и овощей Анна Жюри; он же сортировал добычу.

В среде береговых контрабандистов пронесся слух об английском судне, изрыгающем проклятия. Кое-кто поговаривал, что это развлекается со своим верным визирем Кемаль-паша и строит ковы против верующих в Аллаха:

— Он развлекается справедливостью, — иншаллах! — осуждали старики.

В одну из ночей у старого турка, едва вступившего на скользкий путь контрабанды, была отрезана белая, длинная, в три волнистых пряди борода. Капитан дьявольского корабля свернул ее жгутом, заткнул себе за пояс и стал клясться ее именем!..

Уже настало новолуние... Таков был внешний мир, окружавший сонного человека, контуженного в империалистической войне. Большую часть суток он шуршал водой и стеклом в полной темноте и только после первой получки купил себе полбутылки вредного для людей красного света — длинный висячий фонарь. Человек этот часто засыпал за работой, положив голову на стол, а в черной и неспокойной воде фибровых ванночек сама собой проявлялась история разбойничьей яхты. Он был счастлив, потому что

никто не мог войти без разрешения в его качающуюся комнатушку; на дверцах ее висел аншлаг: «Фотографическое ателье».

Проснувшись, он качал, напевая, фибровые ванночки... Тайн у Петрова не было; совесть свою он берег для какого-то решительного случая, думая почему-то, что ее хватит только на один прием. Поэтому он любил размышлять о других людях, и была у него профессиональная болезнь — размышлять о них с восторгом: они попадали в память фотографа, как в объектив его аппарата, — в наивыгоднейшем для них освещении. Качая ванночку, он похваливал про себя Корсара, утешал Дика Сьюкки в его небритостях, урезонивал итальянца Титто и заигрывал с хамелеоном патера Фабриция.

В ночь на 13 ателье взлетало и падало, как на качелях. Надвинулась буря. Андрей был вынужден включить электричество и переложить деревянными стружками продукты и орудия своего волшебного ремесла. Рассмотрев на свету новую пластинку — полный семейный ансамбль пиратов, — он грустно покачал головой. — «И чего тебе треба», — спросил он Титто Керрозини, глядевшего исподлобья, — «дегтю чи синего камню?»

Портрет Керрозини не успел ответить. Во внешнем мире раздался шум, и дверь ателье потрясли три сильных удара.

— Аврал! — прохрипел капитан Барбанегро. — На помощь! — Не заходя в каюту, он ринулся обратно. Фотограф сунул семейный ансамбль под подушку и поспешил на палубу. Кругом свистала и билась беспросветная ночь. Плюя людям в глаза, она, казалось, хлопала гигантскими отдушниками, из которых несло загробным холодом и морской вонью. «Паразит» то возносился на потрясающие высоты, то обрушивался куда-то в преисподнюю. Палубу заливали волны, и Петрову чудилось, что ветер врывается к нему в правое ухо, чтобы вырваться из левого; моменталист подумал, что это явление называется сквозняком в голове, и поскользнулся...

— Кой черт! — гаркнул мокрый, как шкот, Барбанegro, подхватывая фотографа. — Стойте прямо!

Капитан был без плаща, в рубашке с подвернутыми рукавами; борода его дышала водорослями утопленника. Поставив фотографа, как Колумб яйцо, или ребенок Ваньку-встаньку, он прислонил его к мачте и принялся за прерванное занятие — выкачивать насосом воду из трюма: яхта да-ла течь.

— Работа или смерть! — предложил капитан, когда фотограф оправился.

Оценив положение и отряхнувшись, Петров дико вскрикнул: по всей палубе валялись в непринужденных позах мертвые тела. Но послушаться Корсара он не смел, и через секунду оба боролись в четыре руки со взбесившейся стихией.

— Ломтик! только один ломтик!..

Этот слабый лепет принадлежал Роберту Поотсу. Механик даже попытался встать, но снова упал ничком. Вслед за ним зашевелился Анна Жюри:

— Лимону! О, ко-ко-ко, лимону!

— Они живы! — со слезами благодарности воскликнул фотограф. — О, капитан!

Но Корсар, чтобы даром не тратить порошу, притворился, будто не слышит этих слов за шумом бури. Ночь была нешуточная: из семи человек команды в строю оставалось три: Дик Сьюкки — у руля, Юхо Таабо — у машины и он, Барбанegro, — у власти*.

Буря гремела; время от времени море затихало словно на него надевали смирительную рубашку, — и огромным усилием подымалось снова. Руки Петрова ныли от непривычных движений, капитан тяжело и визгливо дышал, но работа спорилась: вода убывала с быстротой, удивительной для самого пустячного кораблекрушения.

— Гм! — вертелось на языке у Корсара, но вслух он сказал: — О! — и добавил: — Как я силен, тысяча чертей и одна помпа! Можете отдохнуть.

* Фотограф — не в счет (*прим. автора*).

Петров вытер руки о мокрый шевиот штанов и, хватаясь за ванты, подошел к мертвецам. Из них только Керрозини подавал признаки своей разбойничьей профессии. Лежа навзничь, со скрещенными на груди руками, он то и дело подымал голову, сверкая при этом белками глаз. Фотограф хотел что-либо присоветовать страдальцу, но едва успел сказать «а», — произошло непоправимое: палуба погрузилась в непроглядную тьму...

ГЛАВА ШЕСТАЯ,

*где путаются провода причин и следствий, а монтера нет, я
море бушует, и дозвониться к справедливости нельзя!*

И терпентин на что-нибудь полезен.

К. Прутков.

Первый миг, совпавший с мимолетной заминкой на море, прошел в полной тишине; с ней раз навсегда покончил резкий крик Керрозины:

— Я ослеп!

Из рулевой рубки последовало опровержение штурмана:

— Капитан, стон машина!

Корсар молчал. Тогда Дик Сьюкки покинул свое колесо и, в обнимку с новым порывом бури, прохлюпал в машинное отделение. Лишенная управления яхта заметалась по волнам... Вернувшись, штурман утрюмо доложил:

— Билли Палкой!

— Течь велика? — спросил чужим голосом Корсар.

— Течи не было, — вода заливала трюм с палубы.

— Исправить! — скомандовал Барбанegro, но спохватился и, воспользовавшись темнотой, прикусил нижнюю губу.

— Нельзя. Темно, — угробил надежды очнувшийся Роберт Поотс. Он пролепетал еще многое, но его слова покрыл грохот моря...

Зарокотал гром, и яркая молния залила мир сиянием цвета денатурированного спирта. Механик, вегетарианец и фашист быстро отвязали свои ноги от корня мачты, к которому прикрепил их раньше добросердечный Корсар. В голове Титто приходил к концу торопливый торг между страхом кораблекрушения и стыдом. Положение было настолько серьезно, что даже самому себе он не пытался ре-

комендовать этот душевный шухер, как борьбу долга с личными интересами. Грянул новый удар грома, — и страх победил:

— В моей!.. — крикнул Керрозини, — в моей каюте... в саквояже... есть освещение!

Фотограф протянул руку за ключом, чтобы ринуться на поиски спасительного предмета.

— Я пойду сам!.. Оно намокнет... Годится только... для закрытого... помещения! — застонал Титто.

Внезапно, словно удар молнии, ему бросилась в голову ослепительная идея:

— Все к машине! — неожиданно разразился он твердой и звучной командой.

Капитан Барбанегро успел осознать, что роковое свершилось: корсарский престиж треснул и зашатался. Но приходилось, однако, думать о спасении яхты...

— К машине! — нетвердо повторил он команду итальянца.

Не успела обрушиться на палубу новая волна, как вся растерзанная солью и дверными косяками команда сгрудилась в машинном отделении. Здесь качало меньше и пахло маслянистым спокойствием Гроба. В одном из темных углов тихо блеял патер Фабриций. Штурман, бережно таща на буксире итальянца, принес большой бумажный светлок. Титто развернул его и роздал присутствующим пачки длинных, странных предметов...

— Зажигайте по одной!

Он нервно чиркнул спичкой. В темноте сверкнула и завертелась яркая звезда, тотчас же распылившаяся на множество светлых снежинок. Она озарила машины, фигуру Юхо Таабо и белую массу патера, который, лаская свободной рукой хамелеона, поддерживал на уровне груди небольшой синий таз...

— За дело! — скомандовал Керрозини.

Роберт Поотс и Гроб лихорадочно завозились у машины. Остальные, следуя примеру Титто, зажигали одну за другой его странные свечи. Два человека с трудом сдерживали дрожь — Корсар и фотограф. Первый с горьким озлоб-

лением, второй с нежностью узнали в этих звездистых палках рождественский, детский фейерверк... Среди обломков и обносков своей памяти фотограф нашел покрытый снежной плесенью кусочек Петербурга...

— Откуда это у вас? — нечаянно спросил он Титто по-русски.

Тот не ответил. И только нахмурившиеся брови внушили Петрову вздорную мысль, будто итальянец понял вопрос...

Дик Сьюкки зажег сразу весь остаток своей пачки — ведь дед его и отец, ланкаширские крестьяне, принимали лекарство не иначе, как бутылками... Стало совсем светло. Гроб с удвоенным ожесточением заковырялся в машине. Его мысли обыкновенно складывались из кубиков и механически распадались за ненадобностью, как кинематографическая мультипликация. Сейчас в сознании финна сконструировался чудовищный чертеж — смерть! Опытный машинист знал, что, помедли он немного, яхта может захлебнуться или разбиться о скалы. Роберт Поотс заподозрил неладное по профилю Гроба и молчаливо заплакал; в унисон его ресницам лязгали зубы Анны Жюри:

— Смерть! — неудержимо лаял вегетарианец, крестясь фейерверком, — смерть! смерть!..

— Шлюпки! — с искренним презрением ответил Корсар.

Гроб оторвался от винта и освободил от дрожащих пальцев своего инженера медный рубильник; потом, беспощадно упираясь локтем в Робертовы ребра, он выпрямился и без особой надежды попытал мотор.

Все судорожно вздохнули — машинное отделение наполнилось светом: казалось, в банку с ядовитыми газами проник свежий воздух.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ,

*где провода перерваны, но энергия переключена; семя будущего
живет в бутылке, — и читатель прощается со своими
героями, чтобы встретиться с ними в лучшей жизни*

Мистер Бриттинг пьет чашу до дна.

В о р о н с к и й. —
«Красная Новь».

Освещенная палуба выглядела неуютно, как комната самоубийцы. Буря и морская болезнь приняли хроническую форму и потеряли остроту. Течи в трюме «Паразита» не оказалось; машина ожила. Можно было начать сожаления о потерянной ночи.

— Эти внезапные бури! — пробормотал, качая головой, Корсар. — Будь у такого шторма предвестники, мы знали бы, по крайней мере, что ни одна фелюга не выйдет в открытое море!

— А я знал, — процедил сквозь зубы итальянец. Фотографу почудилось, что капитан втянул голову в плечи и, по возможности тихо, втянул больший, чем обыкновенно, глоток воздуха.

— Неправда, иначе бы вы предупредили! — негромко ответил Корсар, — ведь морской болезнью не я болею!

Керрозины бросил на него уничтожающий взгляд и, засунув руки в карманы, отошел в сторону.

Фотограф почувствовал себя неловко: у него всегда была потребность поднять воротник, когда кто-нибудь говорил публично глупости или проваливался на сцене. На сей раз опозорилось целых двое — итальянец и капитан; сутулясь от сугубого стыда, Петров отвернулся от Корсара, но тот тяжело опустил ему руку на плечо:

— Слушайте, вы!

Фотограф был вынужден посмотреть капитану в глаза и впервые определил их сущность — это были карие, зоркие, немолодые глаза с выражением какой-то женской печали.

«Они, верно, никогда не моргают», — подумал фотограф. Капитан тотчас же моргнул и прошептал:

— Вы почему-то единственный парень, которому я могу сказать это, хотя вы тоже сопля! У меня мало темперамента. Будет бунт, а на бунт меня не хватит!

Петров до боли ярко почувствовал природу Корсара.

— Слушайте, вы интеллигент? — хотел он спросить...

Но Корсар продолжал:

— Я выдохся... вы поймете это. У меня уже слабнут годовые связки, и я неплохой человек.

— Вы думаете, что Титто захочет стать капитаном?

— Ну да! И я отдохнул бы даже, если бы так случилось. Но это позор! Или нет?

Была еще одна вещь, которой Петров стеснялся, — чужая откровенность. Ему пришлось ответить лишь взглядом, полным преувеличенного сочувствия,

Капитан потер лоб и сказал тоном, относительно более похожим на обычный:

— Если что случится, я буду действовать до последней капли крови! — Не глядя на собеседника, он тяжелой походкой направился к капитанскому мостику.

На корме уже сбились зловещей кучкой Керрозини, Роберт Поотс, снова покинувший машинное отделение, и Анна Жюри. Чтобы не остаться наедине со своей жалостью к Корсару, Петров присоединился к ним. Керрозини сделал отчаянный стратегический ход: он встретил капитанского друга необычайно любезной улыбкой и даже положил свою ладонь на его согнутую в локте руку; фотограф так уж и не разгибал ее в течении всего последующего разговора, чтобы не причинить итальянцу неудобства. Анна Жюри продолжал прерванную беседу:

... — Консервов мясных сто банок, фруктовых — пятнадцать, презервативов — два фунта, подмышников дамских...

Керрозини поморщился и нетерпеливо мотнул головой:

— Я убедился, что вы хороший метрдотель!.. Не в этом счастье! Счастье в том, что я спас всех от кораблекрушения... Я думаю, вы с нами? — обратился он к фотографу.

— Да, да! — поспешил Петров прежде, чем его могло выдать выражение лица.

В голосе итальянца зазвучала медь:

— Мы могли бы зарабатывать гораздо больше, если бы экспроприировали все, что нам попадается, помимо контрабанды! Но этот испанец — военный аристократ! — Он не любит, видите ли, рыболовных крючков! Не любит мелких монет! Не любит черноморской селедки!

Анна Жюри, сверливший недобрый взглядом открытую шею демагога, перебил:

— Пусть я ненормальный человек, но я лоялен. Ко-ко! И я стремлюсь зарабатывать деньги. Я никому не позволю вынимать эту селедку у меня из кармана! Эту... селедку мы будем брать и продавать, но готовить ее на обед мне нельзя!

— Правильно! — отрезал, к удивлению фотографа, итальянец, не выносивший прежде вегетарианской пищи. Он явно нуждался в сторонниках. Со стороны, во всей группе чувствовались некоторая натянутость и смущение. Наконец, Роберт Поотс отковылял к борту по поводу морской болезни и вернулся с просветленным взглядом на мир:

— Я предвижу, что трудно будет одолеть Дика Сьюкки; мне также неприятен Гроб — я не люблю немых людей! О патере Фабриции я думаю, что он переждет революцию в камбузе.

— Роберт! — воззвал итальянец, сложно жестикулируя свободной от фотографа рукой. — Роберт, не якайте! Мы — едины. Что у нас было раньше? Бездарное деление добычи поровну! Что у нас будет теперь? Деление добычи по личным заслугам! Это расцвет! Это свободное развитие инициативы!

— Я думаю, мы не сомневаемся. Когда мы полагаем приступить к действию, капитан? — спросил Роберт.

— Сейчас же, не то пыл простынет!

— А как мы представляем себе действие?

— Напасть. Оглушить. Связать. Пытать. Стращать. Кор-
мить. Поить. Предложить. Держать.

— А если?...

Итальянец поднял к небу сжатые кулаки:

— У б и т ь!

Освобожденный фотограф, зажимая рукой бьющееся сердце, понесся, по мере качки, к своей берлоге. Благополучно забравшись туда, он вынул из стружек бутылку с аккуратной рукописной этикеткой «гипосульфит» и убедился, что жидкость в бутылке едва доходит до половины; затем глубоко вздохнул. Однако, время, как выражается Голубая рыба, не ждало, а писчей бумаги нельзя было найти в ателье ни клочка. Трясущимися руками Петров разобрал кипу покоровившихся снимков поплоче и остановил свой выбор на групповом портрете пиратской семьи, снятом в счастливые времена. Насколько позволяло прыганье каюты, моменталист принялся царапать оборотную сторону фотографии объедком карандаша. Но волнение не дало Петрову доработать. Он сунул фотографию за пазуху и, прихватив бутылку с гипосульфитом, ринулся обратно.

Кучка переворотчиков уже рассосалась... Петров бросился на штурвал к Дику Сьюкки. Здесь ему представилось дикое зрелище: руки штурмана лежали на рулевом колесе, в то время как ноги и зад отбивались от веревок, которыми их скручивал, с помощью итальянца, Роберт Поотс. В рот штурмана была засунута тряпка, а у виска его вегетарианец держал револьвер, истерически взвизгивая:

— Не выпускать руля!.. Не выпускать! Не выпускать!

Наконец, штурман был обезврежен. Он повернул к мучителям искаженное лицо, и фотограф увидел, что по рыжей щетине прыгают со стебля на стебель крупные слезы.

— Дальше! — скомандовал итальянец.

Анна Жюри спрятал оружие и, как было, вероятно, заранее уговорено, поспешил на кухню. Взгляд Керрозины обратился на бутылку с гипосульфитом в руках фотографа.

— Сильнейший яд! — скорехонько отрекомендовал владелец.

— О! — восхищенно протянул демагог, — а я иду поговорить с капитаном!

Петров проводил его до лесенки. Титто кое-как взобрался по ней на капитанский мостик.

— Кто лезет?.. Тысяча шмендефер! — услышал Петров.

Шум бури поглотил реплику бунтовщика...

— А... мириться?.. это недурно! — прогремел в ответ капитан, — я никогда не желал тебе зла!

В это мгновение мимо дрожащего соглядатая протрусил, припадая на четвереньки, Анна Жюри; то в правой руке его, то в зубах волочился огромный мешок из-под крупы. Удивительно тихо для своей специальности вегетарианец стал карабкаться по лесенке, ведущей к Корсару. Вслед за ним, вытаращив глаза и закусив для конспирации губы, прибыл с рулевой рубки Роберт Поотс.

Петров не стал дожидаться крика и стука падения. Стон капитана больно отозвался в преданном сердце прежде, чем прозвучал на самом деле. Собрав на секунду всю свою волю, фотограф отпрыгнул от наблюдательного поста, опорожнил за борт бутылку с гипосульфитом, засунул в нее свернутую трубочкой цидульку, заткнул пробкой, закупо-рил смолой, содранной с канатов и, отчаянно размахнувшись, швырнул весть о несчастье в кипящие волны...

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

*о кismetе, что значит рок, в которой только дурак
мог бы усмотреть мистику*

Клянусь скакунами, задыхающимися
на бегу!

Коран. Гл. С, ст. 1.

Молитва ваша услышана,— отвечал
Аллах, — идите по пути правому и
не следуйте за неверными.

Коран. Гл. Х, ст. 89

- Ну? — спросил Ван-Сук Застрялова
- Ну, что ж? — ответил тот раздумчиво.
- Да-а, — певуче протянул Гурьев.
- И вот,—продолжал голландец.
- Ге-ге-ге! — покачал головой идеолог.
- Пфу! — плюнул певчий прапорщик. — Дела-а!

Ван-Сук оглянулся на закрытую дверь, затрясся и шепотом сказал:

— Ко-о-нец, не будь я Голубой рыбой! Ш-ш! Хватит! Тиш-ше!

Все задумались. Впрочем, ненадолго, так как за окном раздался скрип арбы, и экономист вышел последить за выгрузкой горючих материалов, главным потребителем которых была яхта «Паразит». Дюжий амбал скатывал со спины на землю бочки с нефтью. Двор пустовал. Будто черный мор прошел над трапезондскими контрабандистами! Число их резко упало. Только заядлые специалисты изо дня в день посещали торговый дом Ван-Сук и Сына на предмет мелких покупок. Эти храбрецы были неуязвимы; они возили свои покупки в Россию какими-то тайными мор-

скими «тропками», лишая таким манером «Сук и Сына» вторичной добычи. Большинство контор закрылось. Оставшиеся тоже дышали на ладан, но были убеждены, что кризис минует, и горизонт очистится от голландских туч, тем более что Ван-Сук еще не отказался от хорошего отступного.

У воров караван-сарая сидел его бывший хозяин Хайрулла-Махмуд-Оглы. Он снова был печален, и отвислый живот унылыми складками ниспадал на его ноги. Глаза Хайруллы-Махмуд-Оглы горели отчаянием, и его уже не радовала прекрасная сделка с учтивым голландцем, господином Ван-Суком и сыном его — юношей с глазами рыбы и языком змеи! Это он, а не кто иной, соблазнил старика, бедного Хайруллу-Махмуд-Оглы, заняться на старости лет молодым контрабандным промыслом! Это он, Хайрулла-Махмуд-Оглы, дрожа и поминая аллаха, выехал в Черное море, чтобы увидеть на тридцатой миле встречную фелюгу и из рук в руки получить звенящие монеты! Это на него, Хайруллу-Махмуд-Оглы, и двух сотоварищей налетел, как дикий шайтан, безумный корабль, — и люди, похожие на иблисов, крича и плюясь и изрыгая зловонное пламя, ограбили до нитки несчастную фелюгу!

А где твоя борода, о Хайрулла-Махмуд-Оглы? Где твоя борода, услада и достоинство правоверного?.. Увы, Хайрулла-Махмуд-Оглы! Увы и ах! Ты хранишь в памяти своей злобное сверканье ножниц и железный их лязг, и бурливый обратный след беспарусной лодки, свершившей злое дело... Да иссушит руку святотатца священный огонь, да разверзнет аллах громы и хляби над нечестивцами! Да не оскудеет ненависть его, да посеет он в сердцах их мужество жабы и шакала и да поразит их и потомство их бесплодием!.. — Так, задним числом, проклинал старый турок своих

оскорбителей, не зная, что часть его проклятий возшла раньше, чем он посеял... Кismet, кismet!..

...Из ворот вслед за двумя арбами, прогромыхавшими по деревянному настилу через арык, вышли Ван-Сук, Застрялов и Гурьев. Если бы проклинатель знал английский язык, он понял бы, со свойственной ему пронизательностью, что голландец продолжает давно начатый разговор:

... — И вообще, мне претит эта безрассудная романтика! Вместо болтливового гишпанца должен быть поставлен дельный человек.

— Ясно — так! — согласился Гурьев. — Тем более, что на море сейчас — сезон.

— Мы упускаем рынок, мы упускаем рынок! — пояснил Застрялов, слегка рыдая, — он как-то странно уплывает изпод нас! Потеря рынка — смерти подобна...

— Ничего, господа, ничего, не будь я Голубой рыбой! — сказал голландец. — Это — только переходное время.

— Time is money!* Имеется спрос и отсутствует предложение!

— C'est la vie! — бросил Гурьев, — Наши мерзавцы-пираты поговаривают о дивидендах!

— Тиш-ше! — насутился голландец, — мы будем играть на понижение!...

* Время — деньги (пер. О. Мандельштама).

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

(Интермедия)

ГЛАВА ПЕРВАЯ,

под названием «лучше поздно, чем никогда», где читатель приобретает весьма приятных и близких ему, по установке, друзей, с которыми уже не захочет расставаться до конца повествования

Я в жизни ни разу не был в таверне,
Я не пил с матросами крепкого виски.

М. Светлов.

— Плохонький ведь журнальчик «Всемирный Следопыт»?

— Плохонький.

— А «Вокруг света»?..

Поезд мчался на всех парах, крича и подсвистывая, то загибаясь змеей, то снова выравниваясь под линейку. Пейзаж кинематографически сменялся — мосты, сады, виноградники, горы, аулы, станции. На станциях поезд не задерживался, а, лишь несколько замедлив ход, валил дальше. В жестких вагонах околачивалась веселая публика, глазевшая из окон, а под одним из этих жестких вагонов, в черном ящике, созданном для специфических железнодорожных надобностей, лежал, скорчившись в три погибели, мальчик завихрастого вида. Обитатели развалин харьковского Благбаза узнали бы в нем одного из своих вожakov — Сеньку; фамилия ему была Хлюст, а кличка — Федоров. Наслаждаться в данную минуту природой Хлюсту мешало отсутствие необходимой для длительного путешествия папиросы. Запас маломощных окурков, собранных на одной из узловых станций, давно иссяк, и бедному туристу оставалось лишь томиться собственным умом.

— И почему так? — осуждал он, — нужно тебе отколоть, к примеру, двадцать верст... Девятнадцать пройдешь и ни-

каких гвоздей, а на двадцатой будто сто пудов тащишь! Аж тоска берет! — Заметив, что мимолетный стрелочник неодобрительно поглядел на его замурзанную физиономию, Хлюст элегантно сделал ему ручкой и снова впал в мрачный сплин.

Наверху, как раз над черным ящиком, весело нервничали шесть человек.

— «На суше и на море» нам как-то ближе! Дайте советскую романтику!

Трое из них держались тесной компанией. Один из этих трех друзей была девушка Маруся; слегка курносая, с темно-синими глазами монгольского разреза и копной подстриженных волос, она пленяла с первого взгляда людей смелых и неловких. Ее спутники, которым было не более 37, в общем, лет, сидели, стучаясь друг о друга и захлебывались рассказами о том, как хорошо вырваться из города в отпуск. Все они — и юноши и девушка — готовы были зверски убить оставшееся до приезда время. Висеть в окне надоело, сидеть, стоять, лежать — тоже. И мысль Сеньки Хлюста лишний раз находила полное подтверждение.

Одного из ребят звали серьезно и без затей — Василием Бурдюковым, другой носил, словно это — меховой пиджачок внакидку, — смешную фамилию Хохотенко. Маруся и Бурдюков ехали попутчиками из Москвы, Хохотенко, Опанас, из Киева. С Васей и Марусей он познакомился в Ростове-на-Дону, где завоевывал пересадку.

Наконец, в окне заklubились станционные постройки, зелень, крики кислых молочниц и горячий запах машинного масла... Паровоз вдохновенно завыл, поезд остановился. Из-под четвертого вагона вылез, морща лбы, десяток вымазанных в мазуте беспризорных. Под окнами зашаркали барышни и молодые люди в белых костюмах, забежали носильщики; на батумский перрон высыпал взволнованный приезжий люд. Путь был окончен.

Сенька Хлюст размял затекшие члены и, прогулявшись голубым взглядом по лицам пассажиров, остановил свой выбор на троих:

— Дозвольте, багаж донесу, граждане!

Бурдюков робко усмехнулся:

— Куда тебе, братишка, мы уж сами!

— Сами, так сами, — вздохнул Хлюст, — воля у человека слободная!.. Некоторые вот цельный день, как собака, не куримши...

— Василий, дай ему папиросу! — сказал Хохотенко, останавливаясь, чтобы переложить баул из одной руки в другую.

— Спасибо... Покурим — и за работу. Я тебе, гражданка, чулки контрабандные приторгую.

— Ишь ты, какой! — искренне удивился Опанас, — нет, братишка, тащи свои чулки подальше! Хлюст ты этакий!

— Совершенно верно, дяденька, — Хлюст и есть! Собственное мое фамилие! Вот только прозвища у меня больно чудная — Федоров! А за что — и сам не знаю. Ну, до скорого!

Он ускользнул, как обмылок в бане.

У самого выхода, едва переступив порог Батума, Марусяхватила своей легонькой лубянки.

— Да, черт с ним... хоть бы на шамовку там наскреб, не так обидно... Эй, эй, гражданка! Где тут дом отдыха тов. Семашки?

Пестрый тропический воздух дымился и звенел.

ГЛАВА ВТОРАЯ,

*о «пожалуйте кушать кишки», упадочных настроениях,
бренности всего земного и неисповедимых путях судьбы.*

De gustibus non disputandum est.

...А под простыней лежал хлеб с книжкой да две пары драных чулок на предмет починки третьей пары, менее драной.

— Барахольщица! — процедил Сенька сквозь зубы с презрительной симпатией. Но для вида почтительно сгреб этот хлам обратно в лубянку и снова закрыл ее. Старик с опаской поглядел на прижимистого продавца.

— За простыню твою гривенник дам, — прошамкал он, — да за коробок — пятиалтынный. Больше никто не даст. Хитер ты, сынок!

Сенька, чтобы не выдать своего волнения, поглядел в сторону, на костяшки нардов под черными персидскими пальцами и, высморкавшись, переменил тему:

— Я больше насчет контрабанды посредничаю!

Тряпичник сокрушенно покачал сединами:

— Эх-эх!

— Тоже сказал! Эх! Да что ж тут эховать-то? а, дядь?

Старик махнул рукой.

— Нет теперя, малец, контрабанды! И не было ей. И ня буде! Может, твои глаза молодые и увидят еще когда, а мой, как уж есть охолощены, так и закроются... — Вдруг голос старика дрогнул сообщническим сочувствием:

— Да ты, может, и отроду самого не жрамши? Могим, вить, и пошамать! Да ты не бойсь, не возьму я за пошамать твою простыню!

У Сеньки от радости пошла по между пальцев чесотка, но вид он подал, что чесотка эта — старая и холодная, а тряпичниково предложение — дым пустой.

— Два раза сюда давай, эй, нелуженный! — крикнул старик хозяину харчевни.

Хозяин, действительно, был медно-желт и тонко изъеден зеленью. Помещался он за стойкой, обнесенной деревянным забором. Там же, спиной к посетителям, пожирал уголь здоровенный, неприветливый самовар, по прозвищу «Банкир», и угрожающе огрызался огромный таз, в котором жарилась баранья требуха. Харчевня называлась «Пожалуйста кушать кишки»*. Случалось почему-то так, что люди обыкновенно посещали ее лишь после неудачных сделок и прискорбных происшествий. Нищий переступал ее порог тогда только, когда, действительно, чувствовал себя нищим, а преступник, когда сознавал себя преступником. Поэтому дела харчевни шли неважно. Неожиданно, в конце мая месяца, положение переменялось. Цифра чистого дохода вскочила до девяноста копеек в день. Появилось домино. Старьевщики, грузчики, рыбаки, инвалиды, люди с заячьей губой и люди без голоса вваливались толпами.

— Везет тебе, Махмудка! — сказал старик, принимая две глиняные миски с жареными кишками.

Харчевник вскинул на говорившего большие красные глаза и нехотя ответил:

— Когда один человек делается счастливый, другой делается несчастливый. Один везет, другой за это не везет... — Он отошел за свой заборчик и вернулся, чтобы подвалить в миску Хлюста жареных кишек. — Мой брат из Трапезонд письмо писал, — так же нехотя сообщил он, — мой брат морской разбойник грабил! Длинный, старый, хороший мусульманский борода резил! Плохой человек морской разбойник!

Хлюст от удивления перестал жевать:

— Бывает рази такой человек — морской разбойник?

— Разный штука бывал на свете! Зачем нет? Аллах все делал — и птица и рыба...

Харчевник отошел к своему посту.

* Честное слово. (Проверено, перевод).

— Молодец, коли бывает!—задумался взволнованный Хлюст. — В море-то ведь спрятаться и вовсе негде! — Как же это разбойничевать?

Тряпичник продолжал мечтать о своем, качая головой и перекатывая на беззубых деснах куски жаркого...

— Вот ты, к примеру, контрабанда!..— сказал он, наконец. — Какая теперя, малец, контрабанда? Гляди вон, — весь народ сумный сидит! Всякий себе думает, — куда она, мать ее поперек, деваласи?

Сенька свысока оглядел угрюмых посетителей харчевни и обронил:

— Да кто ее знает? — Французская она... Может, ей морской разбойник пользуется! Я вот на ейном месте так бы к нему в руки и побег!

Старик задребезжал хриплым овечьим смехом. С непривычки смеяться лицо у него покраснело и на глазах выступили слезы.

— Хоть и хитер ты, а дите еще малое! — поглядел он на Хлюста с осторожной ласковостью. — Может, и ночевать тебе отроду негде? Работать вместе будем, сметье на солнышке собирать...

Но насытившимся Сенькой уже овладела бессмысленная строптивость:

— Не надо мне. Я пройтись люблю. Пойду, где воздух здоровый! Потому — мне санаторием надо питаться, а не лясы точить! До скорого...

Хлюст встал и, не глядя на старика, пошел к выходу. У дверей он вспомнил о покинутой под столом лубянке и вернулся к огорченному сотрапезнику:

— Ты бери, старик, барахло за кишки. Мне не выгодно. Оно, может, и в тифах каких возвратных ходило!

ГЛАВА ТРЕТЬЯ,

*повествующая о приливах и отливах, о луне и звездах, морях
и матросах, мужчинах и женщинах, поэзии и прозе*

Дух романтики точит листву
в лопоухих садах санаторий.

А д а л и с.

— О, море! — вздыхал вслух отъевшийся на заслуженных хлебах Бурдюков, — голубые лагуны, мерцающие под серебристой луной, штили и рифы, скалы и отмели! Легкий бриз касается фок-мачты, и на рулевом колесе дремлет поседевший от соленого ветра штурман. Серебряные волны звучат, как трамвайные звонки, а матросы смотрят на всевозможные звезды и мечтают о своих возлюбленных...

— Ловко, Васька! — сказала Маруся, обсасывая камешек, — вот уж не думала, что ты можешь так выражаться!

Поощрение необходимо поэту, как канифоль смычку — сказал известный русский философ. Бурдюков стал в прихотливую позу, выдвинув ногу на край скалы, нависшей над слабеньким и светлым морем.

— Далекие волны моря вечернего! — шаманил он, — отнесите мой привет людям, томящимся в трюмах, каторжникам, цепями прикованным к скамьям галер, альбатросам, рассекающим белую пену прибоя! В дни зловещих бурь, когда мрачные тучи низко бунтуют над водами, и молнии рассекают свинцовый воздух, когда усталый, как рикша, капитан хриплым голосом отдает приказания: «Иллюминаторы за борт!» «Задраить брандахлысты!» «Камбуз на брамстенгу!» — пусть определенно не дрогнут ваши мозолистые сердца! Вот взблескивают некоторые звезды и встречные пассаты гонят бурю от бортов корабля, и корма

его бритвой разрезает волны! И уже тихо поют птицы, журчит ручей, с тропических островов доносится аромат бананов и съедобной красной сирени, многоцветные павлины острыми клювами излавливают золотых рыбок, а по берегам идут на водопой широкоплечие и прекрасные, как вишня, девушки с ресницами, сметающими загар с их щек, похожих на африканский персик! Их смуглые...

Легкое чмокание заставило его повернуться. Маруся стояла в неловкой позе, опершись локтем на ухо Опанаса, а последний смотрел куда-то в сторону, почесывая двумя пальцами неестественно задранный подбородок.

— Молодец, Васька! — сказал он свысока. — Ты здорово это про каторжников и альбатросов.

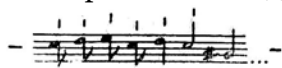
— Пойдем домой, — угрюмо осадил его Бурдюков, — пора и честь знать! Часов одиннадцать, уж никак не меньше.

— Брось, Васька! — удивительно громко возмутилась Маруся. — Откуда одиннадцать?

— Откудыкала! Откуда одиннадцать? Может, и двенадцать уже есть! — Он подошел к Марусе, но она повисла на Опанасовой руке. Бурдюков отступил шага на два и тщательно гмыкнул:

— Мещанская идиллия при луне!

— А ты не смотри, — с искренним участием посоветовал Опанас, но Бурдюков уже ушел вперед, независимо раскачиваясь и то сбивая носком тугие колючки кактусов, то подшибая, как пассажиров в трамвае, шумные, упругие кусты. Парнишка неподдельно страдал.



— донесся издали стон мандолины. За прозрачными облаками головокружительно летела луна. Море пахло корицей и кровью. Жесткий кустарник выпрямлялся, брызгаясь росой.

«Кровь и песок... — думал Василий, — какая несправедливость! Я сеял, а ты пожинаешь, киевское ракло! Такова участь поэта».

Вдруг Маруся ахнула и вцепилась ногтями в бицепс Опанаса. — Из-под пришибленного Бурдюковым куста воз-

ник яростный визг, и тотчас же словно тысяча комаров зазудела тонким благонамеренным матом, а в глаза ударило нашатырем и ванилью...

«Жженым навозом пахнет!» — едва успел догадаться Опанас... На свет лунный родилось удивительное человеческое существо; в одной руке у него была пара огромных драных башмачищ, в другой — камень.

— Хлюст! — вскрикнул Василий.

Беспризорный мгновенно успокоился и, взглядевшись, щелкнул языком:

— Барахольщики санаторные! А я напасть хотел. Шляются тут по ночам!

Девушка почувствовала на своем загривке холодное дыхание рока; но было уже поздно: опасные слова безвозвратно сорвались с губ:

— Не мы, брат, барахло ворует, а ты!

Сенька снова щелкнул языком:

— Тце-тце, тце, очень мне твои драные чулки нужны!

Опанас и Василий сочувственно захохотали.

— В милицию! — страстно крикнула Маруся, сжимая рукой свое горячее горло.

— Да на что мне милиция сдалась, грязные твои чулки? — холодно удивился Хлюст. — Некогда мне тут с тобой! Поговорить ежели хочешь, заходи утром. До скорого!

Кряхтя и мудро напевая носом, он снова полез в кусты. Девушка взяла под руку Бурдюкова: гордость оттолкнула ее от Опанаса, узнавшего о драных чулках...

Луна, мягко сверкнув, закатилась в щель между почерневшими облаками.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ,

покорная традиции морских романов

Море смеялось. Ветерок шевелил страницы Горьковской повести. Зеленые волны глухо ворковали. На червонном песке пузом кверху лежал Опанас. Василий гордо плескался шагах в двадцати от него. Все утро Маруся провела с ним — счастливым и загорелым поэтом, а злой разлучник, надвинув на глаза кепку, шлялся в порту...

— Эй, Опанас! — заорал победитель, когда радость стала невыносимой, — не плачь, лезь в воду! Даешь — наперегонки!

Хохотенко подтянул сползавшие трусики и вбежал в море. Полминуты спустя место начавшегося состязания взорвалось фейерверком брызг.

Саженьях в двухстах от берега олимпийцы перевернулись на спину и поплыли, дрыгая правой ногой. Опанас выплевывал соленую воду и морщился.

— Эх, ты, кавалер! — мягко корил убогатворенный жизнью Бурдюков. — Пловец из тебя, как из песка хлыст, из пыли — пуля...

Вдруг простодушный хохол озаботился:

— Стой, Васька, подожди... со своей поэзией!.. как будто... знакомая рожа!

Перевалившись на живот и отчаянно прищурившись, он поглядел налево:

— Хлюст! Черт меня дерит, — Хлюст! Чертова кукла!

Вихрастая голова приподнялась над водой и, завидев друзей, равнодушно скрылась.

— Хлюст! Дело есть!

Но Сенька не откликался. Они поплыли обратно, лениво рассекая воду и с трудом перекораясь.

— Вздуть за нахальство, а? За лубянку взгреть?

— Балда ты, Васька! Может, это он с голоду! И пустяки

там — драные чулки.

— Факт важен! Принцип!

— Хрр-р! — отплюнулся Хохотенко, — какой тебе принцип, когда у него живот подвело?

Но Хлюст в это время переживал все стадии развития индивида. Сначала, уплывая подальше от комсомольской компании, он действовал механически и за своими плавательными движениями не следил, а потому владел ими в полной мере. Отплыв на значительное расстояние, он нечаянно заметил крошечную голубую ширь и, впервые за одиннадцать лет жизни, родился на свет! — как подобает притом, — в голом, мокром и голодном виде.

Период борьбы с природой начался немедленно, ибо отщепенец был действительно легкий, как самоварная щепка, а море играло тысячами круглых, блестящих мускулов. Пена шипела. Волны швыряли Сеньку почем зря, дорога к берегу не была отмечена никакими вешками, а под животом — в море — и в самом животе бурчали две бездонные, равнодействующие прорвы. Наконец, новорожденный на какую-то долю секунды потерял сознание — и тогда равновесие вдруг восстановилось: Сенька обрел забытую им способность плавать.

Ни Опанас, ни Василий, нежившиеся уже на горячем песке, не подозревали, что в эту минуту Советская страна рискует приобрести мрачнейшего анархиста: пловцом овладело пресыщение жизнью, — стихия была покорена, и царь зверей оглядывал поле битвы: тоже море называется!

По воде двугривенным поплыл круглый плевок и Сенька Хлюст, по прозвищу Федоров, достиг высот мировой скорби...

В это мгновенье мир озарился необычайным открытием. Пловец вскрикнул, раскрыл рот, презирая соленую воду, выпучил глаза, задрожал всей кожей, как — в боевой готовности — лошадь, и устремился к чему-то черному, прыгавшему но волнам.

— Две копейки дадут, ядрена палка! Дадут, чтоб я лопнул!

Полный благодарности к податливому морю, он изловчился и поймал сокровище. Оно стоило никак не меньше пятака по ценам самой захудалой пивнухи. Сенька Хлюст был спасен для человечества.....

.....Первым заметил смоляную заклепку на горлышке Опанас. Василий зато догадался поднять бутылку на свет, а беспризорный сумел вытащить свернутую трубкой бумагу, не повредив самого вместилища. Пощаженная морем фотография изображала группу лиц зверского и величественного вида. Письмо было написано плохим карандашом, крупным, почти детским почерком:

S. O. S! Арестуйте, но спасите! На яхте бунт. Капитан пленен итальянцем. Мы — пираты, грабим все контрабанд. фелюги. Советс. Россия, помощи! S. O. S! Что будет? Бунтовщики хотят грабить у русских берегов. S. O. S!

Андрей Петров — фотограф-пират. Июль. Прихватите дюжину пластинок 9 x 12 и гипосул.

ГЛАВА ПЯТАЯ,

в которой борются чемпионы мировой арены: долг и любовь

— Но, Селим, — сказал Мустафа, — паша не терпит подобных рассказней: ему нужно что-нибудь сверхъестественное. Не можешь ли ты немного прикрашивать свои истории?

Капитан Марриет. —
«Многосказочный паша».

— Так как же?

Легкий санаторный ветерок играл кружевными занавесками. Пахло лавандой, выклянченной у соседней учительницы.

— Так как же?

Живорыбья рука Бурдюкова нервно дергалась. Рука Хохотенко горела. Маруся с некоторым трудом соединила их.

— Ну? «Советская Россия, помоги»!

— Я! — воскликнул Василий.

— Поеду! — решительно буркнул Опанас.

Маруся облегченно вздохнула. Призрак рваных чулок, сверкнув на солнце, как крыло чайки, канул навеки в бездны подсознания. Прозевать столь необычайный случай, как письмо в бутылке, мнилось девушке преступлением перед самой собой и перед революционной совестью; Бурдюков и Опанас, оба пьяные кисловатым, неперебродившим отдыхом, сочувствовали ей. Каждый гневно отгонял от себя мысль о более законных возможностях — милиции, погранотряде, Закчеке — и не заговаривал о них вслух в надежде, что другие еще не догадались. Заседание за круглым столиком можно было считать открытым. На губы Маруси сел трепещущей бабочкой санаторный ветерок.

— Мы не вооружены, — прошептал Василий.

Опанас угрюмо усмехнулся:

— В том-то и фокус! Надо так попасть, чтобы оружие стало ненужным. Тонкая штука!

— Ой-ой, ребята, давайте мозговать! По НОТ'у!

— Что ж, я могу! — нехотя согласился с Марусей Хохотенко... — Фору я тебе давал, что ли? — грозно окликнул он Бурдюкова, уже успевшего глубокомысленно насупить брови и опереться щекой на кулак. — Начинаем вместе!

Настала общедоступная тишина.

Хитрая девчонка прислонилась головой к столу и с удовольствием устремила бездумный взгляд в голубизну граненого кавказского полдня.

— Вы думаете? — спросила она, зевая, через несколько секунд.

Оба парня быстро поглядели на нее, — Опанас искоса, а Василий как бы поверх несуществующих очков. У него в сознании уже начали было складываться кой-какие занятные планы, но колесико вдруг остановилось, и стало невтерпеж лень...

— Вы хорошо думаете? — осведомилась Маруся более любезно, когда в комнате загудела пьяная, толстая пчела.

Опанас отер вспотевший лоб, обстоятельно свертел папиросу и, закурив, доложил:

— Слушайте, товарищи! Дело простое. Они ловят «все контрабандные фелюги». То-то оно самое и есть Сделаем-ка вид, что мы контрабандная фелюга. Поймались и познакомились.

— А потом?... — оборвал Бурдюков.

Опанас загорелся:

— Потом? Диалектики, ты, видно, не нюхал, сукин кот! С чего начинается победа? а? Ну-ка, мы послушаем!

Не дождавшись ответа на свой вызов, он припечатал:

— Товарищи и граждане! Победа начинается с разложения противника.

Василий ахнул; Маруся и вовсе побледнела от радости. Картина разложения пиратов представилась им почти наглядно — аккуратным рядом связанных и обстоятельно разложенных на полу человеческих фигур.

...«Я подношу к его губам фляжку с водой, — молние-

носно вообразил Бурдюков. — “Спасибо, товарищ! ты справедлив, но великодуш...”»

С подоконника упала с легким шорохом какая-то тень.

Поэт вздрогнул. Из-под бархатного полдня выглянула, кривляясь, дружеская голова Хлюста.

— Тише! — крикнула Маруся,

— Сами потише, пацанята! Со мной не пропадете. Я лодчонку присмотрел...

— Тш-ш!

В сад метнулся вихрь, скомбинированный из серых крыльев Маруси и желтых плавников Опанаса.

— Пусть! — вслух сказал Бурдюков, — пусть!

Ручки с пером у него не было. Эти двадцать строк вылились из-под истерзанного карандаша:

Я не ревную (зачеркнуто)
Я знаю, может я не прав, но сердце,
Во славу революции что бьется,
Велит исполнить долг. Я подчиняюсь.
Надеюсь, что веления его
Сойдутся с тем заданием ячейки,
Которое вы возложили б на меня
В таком случае. Варварства пиратов
Я не могу пространно изложить, хотя бы
Передо мной стояла десть бумаги!
Кровь, ужас, плач и слезы рыбаков
Растрогали бы каменное сердце —
Меня простила б даже ЦКК!.. Да что я?
Пора кончать! Уж если не удастся
Мне вас увидеть, то прощайте, други,
Не поминайте лихом вы поэта,
Повешенного на пиратской рее!
Да здравствуют ЦК и ЦКК,
А также
Индустриализация союза!..

С коммунистическим приветом
Б у р д ю к о в.

ГЛАВА ШЕСТАЯ,

*повествующая о героизме молодости и грозной стихии,
готовой поглотить смельчаков*

— Ну, — ответил он, — не вы первый, не вы последний: так всегда бывает с открывателями новых стран: а пока, сынок, примкни к экспедиции, которую я готовлю, — почетное место тебе обеспечено.

Записки солдата
Берналя Диаза.

Это была маленькая, запутанная лодка, парус которой состоял из сплошных заплат. Ее никогда не занимали курортники, обольщенные полными, острогрудыми парусниками и ручными «чайками», грациозно покачивающимися на зеленой воде. Владелец этой страхолюдной лодчонки, носившей имя «Удаволствие души», сдавал ее почти даром, ибо получать удовольствие, гуляючи с ней, можно было только с опасностью для жизни. Правда, любителям сильных ощущений могли бы приглянуться иззубренные борта да ржавое дно, но батумские гости любят отдыхать и зализывать душевные раны... Поэтому «Удаволствие души» пустовала. Чувство справедливости заставляет нас отметить, что хозяин обращался с ней, как родной отец; на его иждивении состоял еще маленький, золотушный виноградник, и оба неблагодарных приемыша высасывали из старика последние соки.

Но всякое счастье находит своего собственника. Не более получаса тому назад «Удаволствие души» была сдана на целые сутки за наличный расчет двум юношам в желтых костюмах. С виду они казались не слишком явными мошенниками, глаза их славно блестели, и владелец лодки мельком подумал о родителях и убитых горем родственни-

ках этих молодых людей...

Чтобы успокоить свою совесть, он превозмог маляриную лень и притащил ведро со смолой; заткнув несколько дыр, зиявших в бортах, он тут же на берегу от непосильного труда заснул...

— А кто наводчик, коли не я? — правильно заметил Хлюст, и «Удовольствие души» в половине второго по часам Василия вышла в море.

Зеленоватые волны обдавали четырех друзей солеными брызгами, солнце сверкало и веселилось, синее небо, вывалившее в пуху легких облаков, безмятежно поворачивалось на своей оси.

Батумский берег отступал, пятясь все дальше и дальше, а звонкий смех последнего купальщика был границей, за которой начинался мятежный простор. Голубизна, пожиравшая Хлюста в день его встречи с бутылкой, была ничем по сравнению с этим полным, открытым настежь морем! Гребцы работали попеременно. Первая очередь уже прошла, и круг замкнулся Марусей с Опанасом.

— Узлов шесть имеем, — хриплым голосом знатока сказал Бурдюков. — Не было бы шквала! — Он пристально оглядел горизонт, понюхал воздух и, сплюнув через левое плечо, отрывисто бросил: — Быть погоде!

Море казалось ему необъятным полчищем зеленых, чернобрюхих сусликов: они со свистом становились на дыбки и падали, чтобы повторять свои попытки с жуткой монотонностью. Это продолжалось бесконечно долго, — до тех пор, пока лодка не изменила направления. Место сусликов занял целый мир мертвых хрустальных пирамидок, курившихся вулканической пеной... Странно, что, удивляясь пейзажу, мы не принимаем в расчет обаяния таких чисто топографических его черт, как прямое или уклончивое направление и левая или правая сторона!..

Хлюст выбыл из строя. Он лежал на корме, натянув на голову Марусин жакет; на ладонях путешественников вскопчили волдыри, а в глаза безудержно вливалось море, наполняя пустынной тоской готовые лопнуть жилы...

— Как бы не потонуть, — заметил Опанас, — черт дери!

Часов в шесть «Удаволствие души» начала сдавать. Бурдюков уже вычерпывал банкой из-под стерилизованного молока скулившую под ногами едкую воду. С востока дул низкий плотный ветер, окрашенный розовыми лучами угасавшего солнца. Свежело. Тяжелый парус, напрягая все свои заплаты, вздулся, как опара, и одичалое суденышко понеслось. Это впечатление усугублялось тонким ржанием ржавых колец и селезеночным кваканьем воды, обегавшей упоры банок.

— В самый бы раз пошамать! — простонала Маруся. Аппетит отчаяния в мгновение ока опустошил корзиночку, на дне которой все же остались полотенце, нераспечатанный кусок мыла Тэжэ и роковая бутылка. Ужин не согрел ни Бурдюкова, ни Хлюста. Вечерний холодок сводил челюсти и сыпался за шиворот тысячами кислых мурашек.

— Который час? — спросил Хохотенко.

Поэт с трудом поднял к глазам заиндеветшую руку.

— Двадцать минут восьмого.

Ночь опускалась быстро. На смену остывшему солнцу взошла раскаленная луна.

— Время подходит! — слабо пролязгал Хлюст. — Может, встретим, а может и не встретим...

— Не каркай! — бросил Бурдюков, окончательно холодея от неожиданной мысли: «Можем и не встретиться, — не списывались, не сговаривались, на море проезжих дорог нет, они, верно, гуляют в другой стороне...»

Опанас передал ему весла и принялся, в свою очередь, вычерпывать воду. Вдруг налетел сильный порыв ветра, и Опанасову спину оседлала на мгновение игривая волна. Перещупав все население лодки, она оставила за собой омерзительный холод и град ругательств. Это было сигналом. Через несколько секунд на «Удаволствие души» обрушилась вторая волна, затем пятая и двадцать первая. Вычерпывать из лодки море становилось все затруднительней. Суденышко безвозвратно забралось в дремучую и непролазную чашу соленой воды.

— Мы гибнем, — спокойно сказал Опанас, продолжая орудовать консервной жестянкой. Хлюст помогал ему, при-

способив в качестве помпы кепку Бурдюкова. Прошла вечность, полная шумом моря и однообразным, как смерть, трудовым процессом. Ночь замкнулась. Только на западе, под самыми дверьми, светилась узкая, веселая щель заката...

— Куда мы едем? — резко спросила Маруся, изнемогая на веслах. Ей казалось, что она неудержимо плачет, но то лишь катилась по щекам вода... Отяжелевшая лодка вязла в море, как в болоте.

«Умерли мы ни за что, ни про что! — подумал Хлюст. — А парни были хоть куда»...

Вдруг он дико заорал, сам еще толком не понимая, отчего орет, — и даже едва не шарахнулся, в изумлении, от самого себя... Прямо на «Удаволствие души» шел издалека настоящий корабль, светившийся круглыми огоньками ил-люминаторов. Несколько минут возобновленной борьбы с морем, вопли и радость вышибли из друзей последнюю энергию. Правда, корабль делал все от него зависящее, но если спасение было близко, то гибель еще ближе. Банка из-под молока и кепка полетели за борт; вода быстро поднялась до икр. Маруся в глубоком обмороке ловко перешагнула через скамьи, чтобы склониться на корму.... Здесь она каким-то внутренним слухом уловила странные слова:

— Чтоб я так жил, если я уже не утоп...

Голос этот исходил из загробных низов...

ГЛАВА СЕДЬМАЯ,

утверждающая, что в жизни сбываются самые невероятные мечты; тут же появляется новый персонаж, которого никак не ожидали ни герои, ни сам автор

Но худший твой день был,
Рюбен Пэйн,
Когда ты встретил нас!

К и п л и н г. —
«Баллада о котиках».

Погибающих захлестнула пена. Раздался скрежет, и борт о борт с «Удаволствием души» остановилась трепещущая моторная лодка. Несколько беспорядочных выстрелов вызвали Марусю из обморока. Бурдюков поднял руки, Опанас с криком «сдаемся!» уцепился за мачту, а с моторной лодки кто-то надрывался на незнакомом и жутком языке...

— Эй, камрад! — выдавил из себя Бурдюков, — мы не понимаем вашу, что говорите! Мы русс!..

— Контрабанда! — ракетой взвился из шлюпки яростный фальцет, — контрабанда!

Опанас потряс мачту:

— Нам нужно видеть капитана! Мы тонем! Понимаете, тонем!

— Спасите! Пожар! — завопила Маруся.

— Караул! — заверещал Хлюст и, перепрыгнув в шлюпку, ухитрился на лету вытащить из какого-то попутного кармана коробку спичек. С подошедшей поближе яхты склонились любопытные фигуры, и крикливый голос бросил:

— Уот хэппенд?*

* Что случилось?

Со шлюпки прогавкали. Тотчас же на палубе яхты робкий голос спросил по-русски:

— А что вам надо? Может, вы по делу?

— Капитана! — продолжала визжать Маруся. — Спасите!

— Слушайте, черт побери! — возмущенно подтвердил Опанас. — Пока вы нас допросите, мы потонем.

— Это ничего, мы спасем вас, — ответил тот же робкий голос. — А зачем вам капитан? Капитан не говорит по-русски.

— Так переведите ему, — крикнул Бурдюков, — что трое юношей и одна храбрая девушка с опасностью для жизни...

— Да, да, я слушаю...

...Робкий голос погиб под обвалом огромного металлического баса:

— О-о-о! — стихийно ревел бас на все музыкальные лады.—О-о-о-о-о!

— О-о-о-о! — детонируя, зазвенела Маруся в последней стадии нервного истощения.

— И я был молод! — воскликнул бас, покрывая океаны.

Тогда на яхте и в шлюпке настала гробовая тишина.

— Гражданин! — спокойно позвала Маруся, отряхиваясь от столетнего забвения, — ведь это же свинство! Я сижу в воде, а вы нас допрашиваете...

— Гражданин! — перебил Бурдюков. — Гражданин, осуществите! Мы хотим быть юнгами!

Но бас более не появлялся. На его место вскочил, кривляясь, надсадный тенорок.

— Эгей! — прокричал он. — Гау, гав, гав!

К счастью, это означало, что гостей следует принять на борт: почти у самой воды вспыхнула электрическая лампочка и осветила легонькую лестницу со стальными ступеньками.

Потерпевшие крушение бросились на палубу. За ними протопало грозное содержимое пиратской шлюпки, которая тут же со скрипом подтянулась наверх. «Удоволствие души», дождавшись спасения своих пассажиров, ушла на дно.

Вдруг с моря донесся отчаянный гортанный призыв:

— Человек за бортом!

—?!*, — дробно посыпался с капитанского мостика командир яхты. —?!**.

Матросы бросились к бортам. Конец шлепнулся о воду и, секунд двадцать спустя, на палубу вскарабкалось существо неопределенного пола. Оно артистическим жестом откинуло со лба слипшиеся кудри и, отбивая дробь зубами, произнесло голосом, в котором обитали грусть и Гейне:

— Что такое Венера? — Это не я. — Что такое я? — Лева Промежуткес...

* Кто кричит?

** Кто это?

ГЛАВА ВОСЬМАЯ,

статическая и краткая, как точка равноденствия, из которой берет начало скрипучий поворот солнца

Босикадо, мой враг, был могуществен!
Я пришел к нему в его страну
И навел на него страх.

Т о м с о н - С е т о н. —
«Рольф в лесах».

Будем слушать дальше.

Н. Б у х а р и н. —
«Енчмениада».

Хлюст выругался. Отплевавшись от морской воды, он стянул с себя мокрый зипунишко и улегся на нем спать под самой капитанской лесенкой. Глазам умученных комсомольцев представилась грязная, уныло электрифицированная палуба. Металлические сетки на лампочках, интимное урчанье воды, обилие неизвестных механизмов и дымка романтики придавали ей сходство с первоклассной общественной уборной. Оно усугублялось бледностью и независимо-вороватым выражением здешних лиц. Титто Керрозини, Роберт Поотс и фотограф глядели на мокрых гостей с выжидательной симпатией. Никогда еще Титто не терзали с такой силой два противоположных чувства — боязнь открыть свое истинное лицо и желание блеснуть капитанской славой. Единственное, что он мог позволить себе на этот раз, была взволнованная фраза с рукопожатием:

— Мио русски нон поимати, ви тальянски нон говорит, Титто Керрозини, капитано ди «Паразит»!

Маруся вздрогнула. Бурдюков и Хохотенко наперебой бросились здороваться, боясь, как бы пират не подумал, что им противно прикосновение его руки.

Их занимали в эту трудную, мокрую минуту не только морские разбойники, но и невесть-откудашний человек за бортом. Длиннорукий, худой, с впалыми щеками и пышной шевелюрой, он стоял несколько в сторонке, виновато улыбаясь каждому встречному взгляду и похрустывая пальцами. За всем этим, он равномерно и как-то небрежно дрожал, а с волос его и парусинового костюма стекала спокойная вода.

— Как вы попали сюда? — не удержалась Маруся.

Юноша мигом присоседился и громко прошептал во все уши сразу:

— Зачем волноваться... Что такое жизнь? — Роман. Что такое роман? — Анекдот! Где вы видели анекдот без еврея? Берегите здоровье. — Я спрашиваю их, что такое жизнь! — весело обратился он к пиратам, несмотря на то, что те не понимали русского языка.

В среде пиратов произошло некоторое смятение. Воля Роберта Поотса претерпела ряд частых и слабых колебаний. Наконец, выражение ужаса в глазах Маруси доконало его; механик решился. Слегка оттолкнув капитана, он выступил вперед, нервно провел рукой по волосам, неловко фыркнул и крикнул по-русски:

— Я тово-с, всякой твари по паре! Огребай правичкà от старого морячка!

Эта странная фраза ударила по напряженным нервам комсомольцев, как бой часов. Но Роберт Поотс вежливо подошел к Марусе и, вдруг смутившись, прошепелявил:

— Я тово-с, знаете, когда по-русски говорю, — я невоспитанный, а по-английски — я воспитанный. Имею честь... — он запнулся и, медленно краснея, продолжал, — представиться — механик.

— Здра... — обрадовалась Маруся.

Жизнь оборвалась. Залп нестерпимо яркого света испепелил яхту и ночь. На палубу «Паразита» упали тысячи солнц и лопнули, как мыльные пузыри. Из перевозданной

тмы возник призрачный и дрожащий голос:

— Готово!

Люди и вещи заняли прежние места. Младший из разбойников дрожащими руками снял с треноги фотографический аппарат; из полузакрытых глаз фотографа дробной скороговоркой бежали слезы.

— Роберт! — умоляюще воскликнул он. — Землячок!

Но механик неприязненно поглядел на него и отошел от комсомольцев на гакаборт.

— Номерок! — шепнул Марусе Опанас. — Не выламывайся, я тебе говорю! — сдержанно рывкнул он, видя, что девушка прижимает к груди побледневшие руки...

Она молча указала ему в сторону, куда направился Роберт.

В районе мрачных механизмов, под угольной лампочкой, изливавшей зловещий, но тихий свет, стоял профилем к зрителям жидкий, как летучая мышь, человек; в согнутой руке он держал крупный револьвер, направленный в рулевую рубку.

Опанас стиснул зубы и потянул за рукав Бурдюкова. Тот пару секунд изучал жуткое зрелище со смешанным чувством ужаса и романтического злорадства; потом жадно перевел дух. Три комсомольских головы сразу отяжелели от сознания ответственности...

— Добро пожаловать! — вдруг тихо выпалил из-за угла младший пират. — Я — здешний фотограф. — При этом он широко распахнул свои мертвые глаза и вытянул трубочкой детские губы. — Плохо-плохо!..

Опанас заметил, что капитан Керрозини исчез.

— Здра.

Снизу из трюма появился человек невероятной внешности. Голова его была повязана красной шелковой тряпкой; голую грудь до половины закрывала выющаяся, иссиня-черная борода. Рубашка висела ключьями; серебряный пояс с трудом сходил на толстом животе, а в смуглых руках дрожал никелированный поднос, на котором прыгала пара морских сухарей и звенела горсточка крупной соли.

За человеком плыло огромное белое облако с лицом без черт и зеленым штрихом на плече.

— Испано де ля грация дон Эмилио де ля Барбанегро! Аве, гитана! — прогремел чернобородый, — Маруся тотчас же узнала неповторимый бас, воскликнувший при abordage: «и я был молод»!

Великан стал перед ней на одно колено и поставил на палубу скромные дары.

— Привет от изгнанников! — проговорил он на звучном русском языке, — я уже был на вашу прекрасная родина и я его полюбил!

Белое облако крестообразно взмахнуло руками в широких рукавах.

— Ой! — вскричал, выступая из-за спины Бурдюкова, Лева Промежуткес, — у него на плече змей для удовольствия! Что такое удовольствие? — Трын. Что такое еврей? — Трава. Что такое жизнь? — Трын-трава! А наши гости уже хотят спать!..

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ,

которая не вышла ростом не по своей вине

Когда нервно смеющуюся Марусю, одревеневшего Опанаса, бледного, как лед, Бурдюкова и Хлюста, продолжавшего буйно спать на ходу, отвели в каюту, а вслед за ними прошел Анна Жюри с кружкой липкого ромового пойла, заменявшего на «Паразите» грог, Промежуткес вплотную подбежал к фотографу с конфиденциальной просьбой:

— Я не такой человек, чтобы вынимать у другого душу! И я прошу разрешения переночевать у вас в каюте один.

— Господи! — горько обрадовался Петров, — пожалуйста! Я весь!

Вдруг глаза гостя сверкнули беглым огоньком; он оглянулся по сторонам, схватил фотографа за грудь рубашки и выпалил биржевым шепотом:

— Интересуетесь? — «Агфа» девять на двенадцать нет, есть «Аэрофото» и «Редстер». Что такое друг? — Телефон. — Он вытащил из кармана мокрых до нитки брюк тонкий пакет, зашитый в прорезиненную материю, и сунул его за пазуху онемевшего от счастья моменталиста.

— Не говорите спасибо, — добавил он, защищаясь ладонью, — о переписке — ша! Я — кустарь-одиночка.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ,

в которой рассказывается о злокозненном Ван-Суке, прикладной философии Застрялова, разочарованиях и надеждах

Лестница не всегда ведет вверх,
иногда и вниз.

(Из неизданных афоризмов
Застрялова).

Около конторки сидел идеолог. Утро было вредное. За окнами кипела горячая желтая осень, по улице неслись смерчи каменистой пыли. Застрялов, хмуря узкий лоб, заносил в черную клеенчатую тетрадку свои мысли. У него была заветная мечта издать когда-нибудь «афоризмы философа Застрялова на каждый день», но издатель не подыскивался, а на посмертную славу идеолог плевал, ибо сызмальства был обнадежен, что загробная жизнь есть тлен и черви.

«Должник, возвращающий данное ему взаймы, уверен в глубине души, что время, протекшее со времени займа до момента отдачи процентов, исчисляется в его пользу. Поэтому ему кажется, будто, возвращая долг, он терпит убыток».

Наиболее удачные из его изречений имели некоторую ценность, ибо рождались из опыта. Приведенный афоризм опирался на случай с экипажем яхты «Паразит»: Голубая рыба не желал больше выплачивать пиратам долю в прибылях. Философ и прапорщик побаивались, как бы голландец не накрыл также и их; пахло озоном*; Гурьев под

* Как перед грозой; озон — газ.

благовидным предлогом отсутствия работы скользил за Ван-Суком, как тень, а ночью ставил под его дверью бутылку, чтобы проснуться от стука, когда патрон вздумает удирать. Идеолог же, положившись во всем на прапорщика, усыплял свое беспокойство умственным трудом:

«Волга впадает в море Хвалынское*; рабочий обязан подчиняться и не бунтовать; лошади едят овес и люцерну».

Дверь заскрипела, и на стул подле конторки шлепнулся Гурьев:

— Потерял сукиного сына! Как в землю провалился! Вот напасть, прости господи! Удерет, как пить дать!

— Может быть, и не удерет, — с философским прозрением сказал идеолог. — Здесь еще можно подработать. Я знаю, чем зацепить Ван-Сука! Нужно все-таки, чтобы он бросил этому хамью подачку.

— Я убежден в этом!

— Она окупится сторицей. Что было раньше? Мы грабили и продавали ограбленным их же товар! Жалкий... экономически-магический треугольник! Мир в процессе становления! Отныне становление становится бытием! Наша лавочка выходит за пределы двух измерений. Мы будем не грабить и продавать, но — продавать и грабить!

Он помолчал, отягощенный космосом.

— Ибо то, что мы продадим турецким контрабандистам, мы отнимем уже у советских контрабандистов! Дело расширяется.

— На одну плавательную единицу! — воскликнул прапорщик. — Вы — гений!

— Это не все. Наш товар захватан и подозрителен. Он облит слезами. Население ужас как ропщет, и у турка срезана борода! Бытие определяется здравым сознанием. Третье измерение венчается четвертым, ибо... — он побледнел,

* Каспийское.

— прежде, чем многожды ограбить для продажи, нам придется однажды купить для грабежа!

— У соседних контор!

Вдруг дверь широко распахнулась, и в комнату твердыми шагами вошел Ван-Сук.

— Вы говорили о делах, — спокойно констатировал он, — я слышал, но не понял. Этот варварский большевистский язык!

— О, мистер Сук! — перепрыгнул прапорщик на английский. — Тройная геометрическая прибыль! Безубыточная система. Дело в цилиндре!

— В кубе! — поправил Застрялов. — Мои выкладки безукоризненно правильны.

Голландец тяжело оперся рукой о его плечо, и все трое зашипели, как змеи. За окном булькала жара. Лист бумаги на конторке покрывался цифрами. У ворот бродили расстроенные контрабандисты, а под навесом сидел, проклиная неизвестных оскорбителей, безбородый Хайрулла-Махмуд-Оглы.

ГЛАВА ВТОРАЯ,

где читатель улавливает дуновение свежего воздуха, врывающегося тонкой и свистящей струей, но где, наоборот, —

Титто Керрозини проснулся от ощущения духоты. Привычная пустота в душе была заткнута, чтоб не дуло оттуда, чистой тряпкой. За время короткого сна бедный Титто стал двигателем внутреннего сгорания. «Мне надо много кушать! — растерянно подумал он, — не подружился бы только молодые пираты с испанцем!» Стараясь кричать громче, чем кричал в бытность свою капитаном Барбанегро, он позвал Анну Жюри.

Вегетарианец подавился горячей картофелиной, медленно сосчитал до десяти, чтобы чего доброго не лишиться самоуважения, и только тогда со всех ног бросился на зов. Пробегая мимо каюты, отведенной для гостей, он от не любви к беззаконию споткнулся и пробормотал:

— Имейте в виду!

В покоях капитана Анной Жюри овладела строптивость другого рода. Фашист натягивал на себя шелковое сиреневое белье; на столике красовался флакон «Paradis perdu». Повар, привыкший сурово копить добычу, учуял в этом национальный вызов и бунт против мелкой собственности.

— Русские спят? — спросил капитан.

Анна Жюри поджал губы и, взболтнув пару раз флакон «Потерянного рая», поковырял в ушах притертой пробкой. Керрозини нахмурился:

— Капитан спит, Анна?

Между собой они продолжали называть Барбанегро капитаном.

— Спит, — твякнул вегетарианец, — как вам нравится история с сухарями и солью?

— Я удалился на свой мостик, Анна. Мне стало слишком противно!

— Ужасно коробит, когда люди это делают! — согласился Жюри, поевшись. Он поправил перед зеркалом свой красивый нос и удалился за завтраком для итальянца.

Оставшись один, Титто с ужасом ощутил, что не связан со своим приспешником ничем, кроме призрака черноморской селедки. Связь эта обещала быть тем более непрочной, что селедочных барж больше не попадалось. Никаких других претензий к старому капитану Анна Жюри и Роберт Поотс...

— Больше не Роберт Поотс! — схватился за голову Керозини, окончательно просыпаясь. Перед ним с удивительной яркостью встала вечерняя сцена. Механик оказался русским! Это подрывало к нему всякое доверие; механик сознался в том, что он русский! — это делало его непонятным и до жути загадочным существом... — Титто, затравленный чудовищными мыслями, стал метаться по каюте.

— Я имею дело с людьми, как будто они совершенно готовые типчики! С ручательством... Нет готовых типчиков! Нельзя верить! Ложь! Упаковка? Ложь! Стандартное производство? Нельзя верить стандартному производству! Брак! Ложь!

По дикой ассоциации, Титто вспомнил свои старые терзания, еще неизвестные читателю, и злобно ткнул ногой серое клетчатое существо, наполовину выглядывавшее из-под койки; испорченный замок лязгнул, и чемоданчик раскрылся; отрезвленный Титто бросился к нему на помощь. Пачки дешевых дамских шпилек, разноцветные шерстяные треугольнички, перочинные ножи рыночной работы, мясорубка и пачка холодного фейерверка быстро водворились на прежнее место.

— *Nomo homini tigrus est*, — пробормотал Титто, выпрямляясь и оставаясь стоять с раскрытым ртом: в дверях из-за плеча Анны Жюри выглядывало скуластое, замурзанное обличье привставшего на цыпочки Хлюста. Он протиснулся между поваром и косяком дверей в каюту капитана и подмигнул своему отражению в зеркале.

— Ламцадрица, — сказал Хлюст, — пожертвуйте папироску!

Керрозини отчаянно замотал головой:

— Non capisco, — не понимай руски, ннет папироса, нон компрендос, бамбино!

— Жабья затычка! — громко рассудил Хлюст, как бы обращаясь за поддержкой к невидимой публике и, не заметив, как передернулось смуглое лицо итальянца, уселся в кресло; затем Сенькин взгляд приковался к рассыпанному на тумбочке английскому табаку. Капитан перехватил этот взгляд, собрал дрожащими пальцами рыжее зелье и, набив глиняную трубку, подал ее гостю.

— Правильно делает, свиная печенка! — снова оповестил Хлюст читателя, закурил и пригляделся к завтраку, представленному на столе Анной Жюри. Рис, редька со сливами, чернильная капуста щекотали беспризорное обоняние непривычным запахом лицемерия и отрыжки.

— Лахудра заграничная! — обратился он к капитану елеиным голосом. — Шибздик! Сучий хвост! Вонючая кишка; гнилое...

— Non capisco! — судорожно развел руками Керрозини, — нон компрендос, бамбино! — и поглядел на Анну Жюри. Повар чему-то ухмылялся, тщательно ковыряя в ухе найденной на полу дамской шпилькой.

— Вы свободны, Анна, — упавшим голосом произнес капитан по-английски.

— Ничего, я подожду, — переминаясь с ноги на ногу, ответил вегетарианец.

А Хлюста уже завертел водоворот безнаказанного вдохновения:

— Тоже, разбойник называется! Слякоть, барахло, вонючка толстозадая, мильтон, сопляку пузо нечесаное!

— Уйдите, Анна! — сказал Титто твердо и строго, как покойник из крематория.

Вегетарианец чмокнул, словно дитя, оторванное от груди матери и, нехотя, вышел.

— Козявка вшивая! Боржомщик! — продолжал с затуманенными глазами Хлюст. — Гробокопатель! Комхоз! Маклер!..

— Пшел вон! — вдруг крикнул итальянец, сжимая кулаки.

Хлюст не осознал:

— Задрыга! Жабья затычка! Маклер!

— Пошел вон, мать твою!..

Изумленный Сенька поднялся на воздух, треснулся об дверь, вылетел на палубу и шлепнулся к ногам чернобо-родого великана.

— Бедный малшик! — сказал, наклоняясь, Эмилио Барбанегро.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ,

*популярно-психологическая, чьи преувеличения автор
просит отнести за счет самой жизни*

Когда я посмотрелся в осколок зеркала,
висевшего в каюте, при тусклом свете
некоего, как бы боевого, фонаря, я был
захвачен чувством смутного страха и
наслаждения.

Эдгар По. —
«Приключения Артура Гордона Пима».

Дик Сьюкки выглянул из иллюминатора своей берлоги; над яхтой нависали черные скалы. Это была бухта пиратов. Услышав детский возглас, штурман дернул дверь, но она оказалась запертой снаружи.

— Билли Палкой! — пробормотал он в смятении. — Опять!..

За последние дни его больше не запирали. Ведь капитан Барбанegro позорно сдался на милость победителей, а сам он, оранжевый штурман, тоже продолжал, как ни в чем не бывало, стоять у рулевого колеса. Револьверное дуло, приставленное то к виску, то к плечу — в зависимости от роста сменяющихся сторожей — беспокоило штурмана только в первые полчаса: он быстро привык к этому соседству смерти и, когда оно за ненадобностью отменилось, почувствовал даже некоторый холод и уют. Но тотчас же после появления русских положение снова изменилось: смерть вернулась к своему старому Дикуну со всеми матаками...

— Почему? — резко спросил себя штурман. Спать ему больше не хотелось. На столике ждали отдохнувшие за ночь орудия ежедневной сладостной пытки — свежее, как персик, мыло и четыре лезвия бритвы «Жиллет»...

— Потому, — ответил он себе сурово, — что ты — старый пивной котел!

У штурмана, когда он ни о чем не думал, водились в мозгу и звезды, и звери, и разные слова, но стоило ему пошевелить мозгами, чтобы где-то за переносицей захлопнулась некая заслонка, а мир причин и следствий покрылся тьмой. Отложив попечение, Дик налил в кружку холодной воды из алюминиевого чайника и принялся за бритье. Первое лезвие сломалось, едва коснувшись своей жатвы: рыжая щетина резала сталь, как алмаз стекло.

— Правильно, Билли Палкой! — Дик с дьявольским удовлетворением прислушался, как повышается в душе уровень гнева. — Уж дайте мне только, как следует, рассердиться — я всех разнесу!

Вдруг он вздрогнул, напрягая внимание: под самой дверью прозвучал женский голос, лепетавший что-то на та-рабарском языке. Другой голос, ответный, принадлежал, несомненно, Роберту Поотсу.

«Трапезонд...» — уловил штурман. Он говорит ей: «Здравствуйте, барышня, как ваше здоровье? Мы уже благополучно прибыли в Трапезонд...»

Второе лезвие сломалось с легким надтреснутым звуком...

Женский голос улыбнулся и продолжал:

— Неужели вы никаданиедитемясса?...

Нежный, чистый цвет лица Роберта Поотса встал перед глазами штурмана розовой пеленой. Ярость, наконец, прорвала плотину. Дик подошел к двери и рванул ее изо всех сил, — дверь не поддавалась. Тогда он стал дубасить кулаками по деревянной обшивке каюты. Но если штурману представлялось, что эти удары звучат, как торжествующая канонада или топот конницы по глинистой почве, то извне они производили впечатление, которое показалось бы ему приятным шумом массового производства котлет...

— Что это такое? — мимически спросил Бурдюков.

У капитана желчь отлила от щек и задрожали колени. Однако, он нашел в себе силы растянуть рот до ушей и блеснуть глазами:

— Это — машин, машин! Нон каписко!

Все они продолжали еще стоять вокруг места, на которое недавно шлепнулся выгнанный из капитанской каюты Хлюст. Хныканье потерпевшего доносилось из кубрика, где Эмилио Барбанegro заменял ему мать.

— Может быть, все-таки мальчик действительно произвел нетактичность? — галантно осведомился Опанас у Роберта Поотса.

Механик нервно провел рукой по своему посеревшему за трудную ночь лицу:

— Что вы, что вы! Итальянцы такие нервные.

— Нон каписко! — с улыбкой простонал итальянец, прислушиваясь к подозрительному хныканью Хлюста.

Стук повторился. На этот раз били чем-то тяжелым. Маруся закрыла глаза и прислонилась к какому-то предмету морского назначения. «Револьвер... — вспомнила она, — рулевая будка*: роман “В подземельях Ватикана”...» Допытываться, однако, было опасно и преждевременно: так строго-настрого наказал дальновидный Опанас.

Стук нервировал собравшихся на палубе пиратов не меньше, чем их гостей. Капитан лихорадочно соображал: «Роман “Тайны мадридского двора”... Что делать?! Он вырвется, как бык! Он разнесет нас в щепки...»

— Милая барышня, — попросил он Роберта перевести, — это не машина! Это — малахольный бунтовщик!

Но перегородка, отделявшая Дика Сьюкки от его судьбы, рухнула. Замок поддался, и штурман с глухим ржанием вырвался на свободу. По лицу его, вернее, по изодранным клочьям бороды, стекала кровь, огромное тело сотрясало от гнева. Весь в мыле, фыркая и дико озираясь, он на секунду остановился. Вдруг блуждающий взгляд узника упал на Марусю.

— Не надо! — умоляюще воскликнула девушка, протягивая к нему руки. Мгновенно подоспевший из кубрика Барбанegro хотел оттащить ее назад, — но было уже поздно.

* Это была, вероятно, бизань-мачта (прим. автора).

Оранжевый штурман глубоко вздохнул и, робко улынувшись, произнес по-английски:

— Как ваше здоровье? Мы благополучно прибыли в Трапезонд.

Керрозини облегченно отер со лба холодный пот. — Пронесло!..

— Ну, я пошел на берег по нашим делам! — сообщил он Роберту Поотсу и нахлобучил на голову берет, — но в это же мгновение растерянно и грозно ухватился за мачту, ибо Корсар поглядел на него искоса с сатанинской усмешкой; проклятый испанец странно кашлянул, потом, как бы невзначай, эффектно положил руку на голову Хлюста...

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ,

*в которой честный человек не согласился бы участвовать
даже в качестве несгораемого шкафа*

Скажи ему, что это просто игрушечная лавка!

Р. Л. Стивенсон. —
«Арабские ночи».

— Итак?

— Он опять не соглашается, но притворяется, что соглашается!

— Сколько? — взвыл исстрадавшийся «Части автомобилей».

«Пишущие машины» отчеканил:

— Сорок.

— Тысяч?!

— Тысяч! — еле слышно прошептал «Патентованные резиновые изделия». (Несчастья словно выжали из него весь воздух.)

Помолчали.

— Какая сволочь! — воскликнул «Части автомобилей».

— Он еще по-новому притворяется! Он притворяется, что намерен стать нашим покупателем! Одно слово — голландец.

Еще помолчали:

— Ну и ну! По-видимому, нам конец.

«Резиновые изделия» подтянул и сколол английской булавкой ставшие непомерно широкими брюки.

Вошел облезлый от жары «Арифмометры и кассовые аппараты».

— Дурацкая погода! — лязгнул он подозрительным голосом. — Заседаете?.. Кстати, у меня есть новости.

— Откуда? — в один голос спросили игрушки судьбы.

— Достоверный источник, — ответил «Арифмометры», — но тише! Источник со мной. Он ждет. Заплатим ему по царски.

Облезлый подошел к дверям и, поманив кого-то пальцем, произнес:

— Мосье, прошу!

В комнату как-то боком (и грудью) втерся повар яхты «Паразит». Глаза его горели нравственным возбуждением; за правой щекой леденцом перекатывался воздух:

— Здравствуйте, господа, — сказал повар. Дальнейший разговор, верней — повествование, велось приглушенным клетотом. Лица игрушек постепенно бледнели, помещение наполнялось запахом электричества и резины.

— И-и... — пискнул «Пишущие машины».

Предатель прижал руки к солнечному сплетению и невинным оком поглядел на стальной сундучок, по-видимому, исполнявший роль кассы. Кризис миновал. «Патентованные резиновые изделия» оправился от восторга и, хлопнув себя по располневшим ляжкам, взвизгнул:

— Иах, какой пассаж!

«Части автомобилей» восхищенно завопил:

— Но какой жулик! Боже ты мой, какой жулик! Прямо можно сказать, завидно!

«Арифмометры» горделиво поглядел на соратников:

— Ну? — спросил он.

— О, да! Да, — закричали соратники, соответственно лаская Анну Жюри.

— Итак? — снова спросил «Арифмометры», когда Анна Жюри покинул собрание.

— Поживем-выживем, — ответил бодрый хор, — проклятый голландец в наших руках!

ГЛАВА ПЯТАЯ,

где автор дает, наконец, волю собственным воспоминаниям о чужих краях и решается даже кое-где высказывать свои личные мнения, заключая их в чужие кавычки

Пока кок «Паразита» зашивал сребреники в подкладку клетчатых штанов, а старые холостяки — Дик Сьюкки и Хлюст — хлебали в кабаке черный портер, пока Юхо Таабо спал в ногах у машины, — братва бродила по Трапезонду. Малоазийская глина жгла Бурдюкову ступни сквозь толстые подошвы сандалий; на голову сыпался щебень. В узеньких улочках старого города пахло падалью и жженным сахаром, но гостям «Паразита», впервые попавшим за границу, эти запахи казались свежими, как аромат ранней газеты.

— О, таинственный Восток! — сказал Корсар, останавливаясь в тупике и картинно указывая на вываливающуюся из-за глиняной пазухи зелень турецкого сада.

Хохотенко чуть заметно улыбнулся, но Маруся вдруг покраснела и грозно вскинула на испанца запудренные пылью глаза:

— Почему таинственный? Где таинственный? В чем дело, товарищ Барбанегро?! Восток — темное, экономически отсталое место! Если нам нравится, что женщины ходят в чадре, так знайте, что у них под чадрой — трахома!

— Кемаль-иаша велел уже им носить голые лица... — смущенно заступился Корсар.

Маруся ахнула:

— Как вы говорите? Велел?... Кто он такой, чтобы велеть? Его взяла за шиворот историческая необходимость! Турция пробуждается. А у вас нет костяка! Где у вас костяк?

Роберт Поотс искося поглядел на лейтенанта и хихикнул. Фотограф страдальчески поморщился.

— Восток — это нищета, — разошлась Маруся, — Восток — это непосильный труд, непогашенная известь! Женщина

тащит на плече пудовый кувшин и балансирует, чтобы не упасть, а вы думаете, что ей нравится покачивать бедрами для вашего удовольствия! Вы принимаете, — она напряженно сморщила лоб, — вы принимаете... трудовой процесс за поэзию!

— Правильно, дура! — не выдержал Опанас.

Барбанегро растерянно поглядел на него, потом, заикаясь, обратился к обидчице:

— Почему эти правильные мысли, которые делают других людей такими холодными, например, меня и Клода Фаррера, — действуют на вас так живительно?

Они сели на пригорок над высохшей канавой. Не получив ответа, Корсар снова заговорил, глядя вдаль зоркими и печальными глазами морского волка:

— Я родился в бедной испанской семье, среди боя быков... Там руки женщин пахнут олеандрами, а волосы жареной рыбой. Рано утром меня будили звуки фанфар, а кружевная мантилья моей матери...

— Чем объясняется, что в Испании так дешевы кружева? — мрачно заинтересовался Хохотенко.

— Я не знаю... В полдень...

— Подождите! — потянула его за рукав Маруся. — Я не могу так, с налету! Из олеандры можно варить варенье?

— Я не знаю... Ранним вечером...

Бурдюков дружески положил руку на колено Корсара:

— Это дивная страна! Что же вы делали до семнадцатого года?

Испанец порывисто поднялся. На его побледневшем от волнения лице резче обозначились морщины:

— Пора вернуться на яхту, дорогие гости! К пяти часам придет принципал.

Его тон обидно напомнил Василию, что они только пленники пиратов. Роберт Поотс нечаянно сорвал на берегу канавы сорную травку и от смущения преподнес ее Марусе. Но Маруся, пропустив вперед Роберта и Корсара, пошла рядом с фотографом. — «Уже!» — с отчаянием думала она об испанце, — я уже боюсь смотреть на него, когда говорю с

ним! Я уже боюсь, когда он идет сзади и глядит на мою спину!»

— Где Промежукес? — вспомнила она вслух.

Промежукес, сопровождавший их от самой бухты пиратов, постепенно исчез. Фотограф-моменталист оглянулся со своей обычной манерой затравленного зверька и даже похлопал себя по карманам:

— Честное слово — нет!

Казалось, он опасался, чтобы кто-нибудь не заподозрил его в похищении юного еврея.

— Мой отец был членом союза Михаила Архангела, а я нет, — беспомощно поглядел он на Марусю. — Ни за, ни против юдофобства не имеется никаких веских доводов!..

Маруся пропустила эту бледную сентенцию, не прошептывая ей. Намагниченная поколениями малоазийская земля, хватавшая за пятки Бурдюкова, засасывала девушку, как тряпина. Походка стала тяжелой, а в голове болела серая повестушка Лавренева о любви классовых врагов... Глаза Маруси наполнились слезами.

— Я полагал, — звонко рассказывал впереди Роберт Поотс, — что буду прав, сменив такого чудного моряка, как наш Корсар, на макаронщика Титто! Теперь я полагаю, что был неправ.

— Да, — разрубил узел Опанас, — вся суть в нашем экономическом строе, а не в личностях! Вместо того, чтобы бить виновника, вы деретесь между собой! Ищите корень под спудом... — Они стали спускаться по тропинке, ведущей в бухту.

Роберт Поотс запел высоким чистым голосом:

Я не милорд и не диспетчер,
Мне солнце вольное милей!
Любил я в детстве тихий вечер
Среди картофельных полей.

Растут года, растут бесплодно,
Подайте несколько гиней*
Суть нашей жизни корнеплодна,
А все, что сверху — для свиней!..

Яхта «Паразит» чутко дремала на изумрудных волнах. Завидев фланеров, она выслала им навстречу самую свежую из своих плюпок. В глубоком молчании Юхо Таабо переправил компанию в ее плавающий вертеп. На палубе яхты уже сидели в плетеных креслах Ван-Сук, Застрялов и Керрозини. Оба новых лица имели неестественный и мертвый вид первомайских чучел, и комсомольцы фыркнули от щекочущего ужаса.

— Это вы? — сухо спросил идеолог, поочередно ощупав взглядом Марусю, Опанаса и Василия. — Патрон спрашивает, вы ли это?

— Да, — гордо ответил Бурдюков.

Ван-Сук выпустил из трубки вместе с густым клубом дыма свирепую фразу на языке убийц...

— В библии сказано, что ваше время пройдет, как дым, — перевел Застрялов. — Вы будете мыть палубу и делать все резкие движения. А мы будем грабить у русских берегов и брать ваши Советы!

Бурдюков грозно прищурился:

— Что-о такое?

— Нет-нет! — заторопился переводчик, — обыкновенные домашние советы! — На кого нападать, что говорить, как держаться...

Трубка голландца снова зарокотала. — Больше ничего, — сообщил Застрялов, снимая запотевшие очки. Ван-Сук вежливо заговорил по-английски с капитаном Керрозини. В разговоре принял бурное участие Корсар.

У Маруси застучало в висках. Обостренная чуткость подсказала ей, что слова голландца оскорбительны для Эмилио.

* Гинейя — около десяти рублей.

— Not! — с дикой энергией ответил Корсар идеологу. Голландец медленно встал и, вынув изо рта трубку, указал на безумца мокрым мундштуком.

«Взять его!» — поняла Маруся.

Керрозини и Застрялов, сжав кулаки, бросились к испанцу. Опанас гневно вздрогнул, но остался стоять с напряженными мускулами и закушенной добела нижней губой. Роберт Поотс, нервно вытирая руки носовым платком, отступил от Корсара, чтобы не мешать ему в борьбе... Но борьба осталась висеть в воздухе... Группа застыла в скульптурных позах.

Из воздушного люка шумно вылетело белое человеческое существо...

— Измена! — крикнуло оно, взмахивая руками. Это был Промежуткес.

— Где? — взвыл идеолог.

... — Неизвестно! — Промежуткес упал к ногам голландца в глубоком обмороке...

ГЛАВА ШЕСТАЯ,

*большая и умная, величину которой извиняют трагедии,
грабежи, мертвецы и таинственность, приличествующая
делу морских разбойников*

Ввиду разноречивости событий
эта глава идет без эпиграфов.

Автор.

Спустился теплый, оранжевый вечер; в машинном отделении кудесил над стальным сердцем «Паразита» Юхо Таабо, давно незванный ни на пиры, ни на похороны, и напевал тонким топотом забытую песню:

Как я-ясно! как ти-и-хо!.. сыреют ложби-ины...
Над вешней земле-ою плывут облака-а...
И даже ромашка, вернувшись с чужбины,
Упа-ала на крепкую гру-у-у-удь мотылька!...*

Яхта готовилась к отплытию, но наверху, в каюте Керрозиин, Промежукес все еще лежал без сознания. Никто не знает, какие образы осаждали его память в эти роковые часы! Голова его неподвижно покоилась на подушке, а пальцы судорожно перебирали одеяло. Ни угрозы голландца, ни молитвы патера Фабриция, ни гомеопатические лекарства Петрова, ни клятвы Барбанегро, ни слезы Маруси не могли заставить таинственного юношу разомкнуть уста. Слово «измена» осталось нерасшифрованным. Каждому из присутствующих казалось, что оно лежит в кармане собеседника, страшное, как минерал, химический состав которого не поддается исследованию, а действие — ужасно.

* Перевод принадлежит Сельвинскому.

Наконец, Ван-Сук и Застрялов сошли на берег, сухо договорившись с итальянцем о новых принципах грабежа.

«Если нас предали, — думал голландец, грызя мундштук, — конторе надо принять меры, не будь я Голубой рыбой! А яхта пусть лучше попадет на море, чем в Трапезонде!» Никотин, заменявший ему мозг, действовал исправно...

Проводив взглядом удаляющуюся спину патрона, Титто Керрозини scomандовал ужин. Пираты, среди которых не было одного Гроба, шамавшего вниз в кругу своей железной семьи, хмуро обсели стол кают-компаний, стараясь не касаться друг друга плечами; патер Фабриций пролепетал короткую молитву, и Анна Жюри, уклоняясь с легким отворачиванием от рук и голов своих коллег, развернул смятую полоску бумаги, на которой было начертано скудное меню:

Борщ пейзаж с грибами.
Суп польский а ля Ван-Сук.
Филей из капусты.
Гурьевская каша.

— Амен! — провозгласил патер Фабриций, когда призрачный обед испарился с быстротой эфира... Экипаж высыпал на палубу. Скоро яхта вышла в ночь из лабиринта профессиональных визгов и скрипов. В синей листве сумерек повисли свежие гроздья далеких лимонных огней... Бурдюков облокотился на борт с чувством бессознательного превосходства над мирозданием, которое так легко укладывалось в плохие стихи, оставляя в них еще много места для словесной протоплазмы.

Его вывел из сладкого оцепенения дружеский удар по плечу. Поэт недовольно обернулся и увидел Хохотенко.

— Чего тебе?

Опанас прошептал, оглядываясь по сторонам:

— Молотвсё молотмыв молоткá молотью, молотье́ молотиром молотье́ж молотé молоткёс молотá молотзá молотсё молотдà молотье́м...

— Что?

Но широкую спину Опанаса уже поглотила ночь...

— Подпольная работа! — смекнул Бурдюков. Природная способность к лингвистике помогла ему раскрыть шифр: «Все мы в каюте Промежуткеса заседаем». Это звучало де-пешей!

Стараясь по-морскому раскачиваться на ходу, он неспешно прошел в кубрик, вернулся на палубу, легкомысленно повертелся у рулевой рубки и, наконец, шмыгнул в каюту, где тихо тлел Промежуткес, уже покрывшийся налетом серого пепла. У остывающего одра грелись Маруся и Хлюст. Вслед за Бурдюковым явился фотограф-моменталист в сопровождении Хохотенко. Маруся плотно прикрыла дверь.

— Дорогие товарищи! — начал Опанас, присаживаясь на край койки. — Мы собрались здесь, чтобы обсудить свойства окружающей среды и наметить основную линию работы. Считаю неуместным бюрократизмом выборы председателя и секретаря, вношу с места в карьер два предложения. Первое — заслушать доклад беспартийного товарища фотографа. Ставлю на голосование.

Все руки поднялись.

— Второе предложение, — продолжал Хохотенко, — доклад тов. Хлюста Федорова о национальном вопросе на территории «Паразита». Кто за? — Единогласно. Тише, товарищи!

(Промежуткес с ритмическим упорством гальванизированного трупа скреб свое, прилегающее к Хлюсту, бедро, но жест этот, в общей взволнованности, остался неоцененным...).

— Третье, товарищи, — чей-нибудь доклад на тему о диалектических методах работы на местах! Теперь слово предоставляется тов. Петрову.

Фотограф-моменталист, таившийся в темном углу, шагнул на середину каюты и поклонился собранию. Он был бледен, как брезент, в который заворачивают морских покойников, и заговорил так тепло, что концы слов его таяли, едва успев коснуться благодарной почвы.

— Я начинаю... Я люблю музыку... Задолго до концерта, я входил в городском саду в маленький грязный загон для любителей прекрасного... Это было в Одессе, но я не одессит... Я бродил по загону, — и вдоль деревянных стен росли кусты сорной акации — туда ходили собаки... Наконец, музыканты начинали настраивать инструменты... Я не знаю... Это самое страшное дело! Нет такого обезьяньего крика, который бы не вырвался из инструментов, когда их готовят для их же пользы! Вы не унывайте! Все будет хорошо, и весь мир изменится... Итальянец тоже не бог весть какая сволочь, но испанец лучше, а Дик Сьюкки двадцать лег штурманом!.. Они все очень милые люди. Я боюсь, что они умрут... Потом я начал заниматься фотографией. На войне меня убили. Во время революции мой одессит взял меня в Австрию, но я живу в Константинополе. Прапорщик — дурак, Застрялов тоже. У Ван-Сука много денег от природы: он сам их делал... Я ленив, но честен: утром я взял аппарат и пошел ловить в него турецких женщин, — дай, думаю, настреляю к завтраку по пиастрику за снимок.

— Довольно, — сказал Опанас, когда речь фотографа смешалась в светлую весеннюю слякоть. — Речь принадлежит тебе, Сенька.

Хлюст, терпеливо выждав, пока фотограф узаконится в своем углу, доложил собранию величаво и печально:

— Дорогие товарищи. Я бы может сам, как я парень молодой, хотел сперва медленно поговорить за свою личность, но не держится во мне новость, как в гусе вода. Знайте же, красные герои, что итальянец — русский.

Из четырех грудей вырвался восторженный всхлип.

— Он меня к матери своей посылал, — глухо пояснил Сенька, снова погружаясь в утрюмую мечтательность. Опанас несколькими умелыми вопросами дал ему возможность красочно описать собранию роковой завтрак в каюте капитана. Когда рассказ был окончен, все хранили несколько секунд молчание, прерываемое лишь жуткими машиностроительными звуками, которые издавала грудь простертого без памяти Промежуткеса...

Первым опомнился Опанас.

— Товарищи! — сказал он, ударяя кулаком по колену. — Ну и ладно! Долой до поры до времени политические сплетни! Уясним общее положение. Товарищи! Мы попали в какой-то клоунский вертеп! Товарищи! Я спрашиваю, почему восемь здоровенных дядь ломаются, как Петрушки на ярмарке? Почему, что ни слово у них, то — дешевка? Почему они то кричат, то шепчут, а не говорят просто? Почему они ходят, как ненормальные? Товарищи! Я даю ответ на этот роковой вопрос, — слушайте внимательно. Дело в том, что мы имеем перед собой ярчайших представителей деклассированной среды; мы наблюдаем экземпляры, давно отпавшие от живой социальной природы и живущие истощающей индивидуальной жизнью! Они съедают сами себя, как голодный верблюд!* Нам страшно повезло! Мы словно в заповеднике или в ботаническом саду.

Он тяжело перевел дух.

— А между тем, товарищи, — продолжал он, — их теперешняя профессия не преступна: грабеж контрабандных фелюг — нечаянная и невольная помощь советской пограничной охране и советской торговле! Эксплуатация торговым домом дает этим чучелам в наших глазах права человека и почти пролетария... Товарищи, признаться, я и сам не переварил еще все эти обстоятельства, но я хочу действовать! Мы молоды, и сил у нас много. Почему нам не спасти этих людей для сознательной жизни? Я за ударную работу на местах!

Никто из потрясенных слушателей не успел отблагодарить оратора за откровение. Чудесная неожиданность пригвоздила их к месту: вернувшийся к жизни Промежуткес молниеносно захватил в свои цепкие пальцы три напряженных комсомольских руки:

— Этот толстовский повар не человек — этот повар не человек, а коммунальная услуга...

— Вы живы? — воскликнула Маруся.

* Смотри у Брема (*прим. автора*).

Фотограф бросился на колени перед матросской койкой...

— Что такое жизнь? — Смерть, — ответил юноша. — Что такое смерть? — Самозащита. Что такое я? — Притворный жук.

Он снова откинулся на жесткие подушки, окутавшись непроницаемой бледностью.

За дверьми каюты послышались топот и шум голосов.

— Мы здесь! — с деланной беспечностью откликнулся фотограф.

Дверь со стоном распахнулась, и каюта наполнилась патером Фабрицием.

— Войдите, — сказал Василий, принимая безотносительную позу.

— Каптен, э гав гау гув дзи гва эх-ух, гав дзи гав! — жалобно прошептало духовенство.

— Капитан просит вас на палубу, — перевел Петров. Молниеносно закрыв собрание, они выскочили на вольный воздух. Итальянец был на юте. Вокруг него, в свете остроконечной луны, изгибался Роберт. Патер Фабриций, по старой привычке, сел на складной стул возле камбуза, оскверненного вегетарианцем. Итальянец, завидев друзей, горделиво переступил с ноги на ногу. Роль переводчика взял на себя Роберт Поотс:

— Я прошу вас, — начал он за капитана, — принять во внимание, что сегодня — ваше боевое крещение. Мы соответственно освятим его ромом, клянусь бородой того турка!

— Мы уже говорили об этом, капитан, — выступил Василий, — мы в вашем распоряжении.

— У меня очень зоркие глаза, капитан, — подхватила Маруся, — я вижу, как кошка, и хотела бы быть этим, как его...

— Марсовым, — объяснил Опанас.

— О! — явственно одобрил через Роберта итальянец. — Подумать только — марсовым.

Но Маруся уже взбиралась по выбленкам* на грот-марса-рей**.

Легонькая фигурка в темной юбке, предусмотрительно сколотой английской булавкой, заставила Барбанегро схватиться за сердце; опершись о нактоуз***, он застонал: — Боже мой! Она не ведает, что творит! О, Сьюкки!

Сьюкки не успел, по свойственной ему медлительности, прийти в себя, как с марса завопили:

— Жертва не ждет!

— Шлюпка! — взвизгнул Керрозини.

— Есть.

— Боевое крещение! — пробормотал Василий и вместе с Барбанегро грохнулся в шлюпку. Роберт Поотс, стоя на носу, пронзительно засвистал. Под опытной рукой Корсара шлюпка перла прямо на врага... На фелюге, как всплеснутые в отчаянии руки, взметнулся и упал бледный парус. Атавизм кошачьим клубком подкатил к горлу Василия; нечленораздельно и дико завыв, юноша вскочил на загривок контрабандиста...

— Зачем насилие? — остановил его Роберт и, кротко помахивая револьвером перед носом потерпевшего, мягко предложил сдаваться.

— Жертва не ждет! — донесся до них свежий, как барбарис, вопль Маруси.

— Назад, согро di basso! — взвилась команда итальянца, — назад, e'vero!

— Что же делать?! — озаботился Поотс. — Надо скорее принять товар. Эй, вы! Забыли свое дело, что ли?

Два контрабандиста с мусульманской улыбкой покорности и презрения переложили свой товар в пиратскую

* Тонкие тросы поперек вант, идущие параллельно друг другу и в расстоянии друг от друга 15-16 дюймов. Вязутся к вантам специальным выбленочным узлом.

** Немаловажная часть рангоутного снаряжения.

*** Шкаф, и котором стоит компас.

шлюпку: горький опыт научил их быстроте и точности, которых так недоставало их беспомощным фелюгам.

— A rivedersi! — грустно кивнул Барбанегро своим жертвам, принимая последнюю коробку. — Я становлюсь стар, друзья мои, — говорил он по-русски, пока шлюпка летела обратно к «Паразиту», — мне становится жаль людей! Я чувствую в своей груди странную ошибку... — Опыяненный Бурдюков с трудом понимал эти простые слова.

Шлюпка была уже в какой-нибудь паре десятков морских саженей от яхты, когда повторная команда капитана натравила ее на новую добычу.

Прекрасная шаланда нетерпеливо, как красавица, раздувающая ноздри, ожидала своих порабитителей. Василий, Роберт и Барбанегро настигли ее во мгновение ока. Остановившись борт о борт, они были поражены веявшими из шаланды спокойствием и тишиной. Бурдюков в запальчивости боевого крещения оттолкнул Роберта Поотса, чтобы вступить на покоренное судно... Достигнув цели, юноша остановился и замер. Никто не препятствовал ему... Глубокое молчанье пахло на него запахом огромного поля бесмертников — костлявых цветов провинциальных кладбищ, — словно ароматы незримого тления поднимались с темного дна шаланды! Барбанегро бросился за Василием, но отшатнулся: волосы на голове Корсара встали дыбом, холодный пот брызнул из пор его лица, и в груди он почувствовал жуткое стеснение...

— Да воскреснет бог и расточатся врази его, — пробормотал он, — святая мадонна, я не хотел бы с ним встретиться.

Эта молитва отрезвила Бурдюкова:

— Предрассудок! — бодро воскликнул он, — самообман! Опиум! Мадонны не существует. Это — такая планета, — но пальцы испанца сжали его руку повыше кисти.

— Не в этом дело! — прошипел Корсар. — Дело в том, что пришла наша гибель.

— Откуда вы знаете? — тихо спросил Бурдюков, подпадая под гробовое влияние Корсара.

— Нельзя сказать! — ответил тот, трясаясь всем телом, — так погиб Билли Палкой.

Гордость помогла Василию справиться с ужасом :

— Плывите домой, если вы боитесь, а я оста...

— Я останусь с вами! — трагически перебил Корсар, — но это может стоить нам жизни.

Мягко отстранив испанца, Бурдюков прошел в дебри шаланды. Всюду его встречало молчание. Слабый огонек пятой спички осветил узкое пространство, населенное двумя ящиками зловещего и контрабандного покроя. Юноша без труда поднял их и, нагруженный этой легкой добычей, вернулся к Барбанегро; тот, не говоря ни слова, увлек его обратно в шлюпку.

— Что такое? — спросил Роберт Поотс, кладая зубами.

— Спросите у него, — кратко ответил Бурдюков, но Корсар безмолвствовал. Он навалился на румпель, и шлюпка, пущенная Робертом, понеслась к яхте. Достигнув своей резиденции и взойдя на палубу, пираты попали в кольцо вопросов и междометий. Керрозини схватил Роберта за руку и вздрогнул, — она была холодна, как гранитные плиты морга.

— Там, там!... — лязгнул Роберт и умолк.

Дик Сьюкки бросился к Корсару.

— Летучий голландец! — сказал Эмилио загробным басом.

— Боже, спаси наши души!

Керрозини дико закричал и, казалось, ужасный крик, а не машина понес яхту от проклятого места.

— Полный ход!

... Опанас и Василий подтащили ящики к бизань-мачте, сорвали крышки, и запах тления ударил им в нос. Маруся вскрикнула:

— Мех!

Хлюст ткнул пальцем в ящик, понюхал и изрек:

— Дохлятина.

Ящики были наполнены мертвыми кошками. Керрозини и фотограф подбежали к комсомольцам.

— Dio mio! — завыв капитан в ужасе.

— Трупы! Покойники! — застонал фотограф.

— Капитан! — крикнул подоспевший Роберт. — Капитан, взгляните на корму!

«Летучий голландец», распустив паруса, шел в фордевинде. На расклотах* и ноках** его рей блистала роса, посеребренная луной. Ночной ветер гнал проклятый корабль прямо на яхту.

Керрозини заметался и бросился на ростры***. Лишь Барбанегро не потерял присутствия духа: в гряде тросов, кранцев, отпорных крюков и анкерок он рассчитывал найти спасение.

— Лево руля! — гаркнул он.

— Есть лево руля, капитан! — донеслась до него глухая лесть оранжевого штурмана.

Дьявольское судно шло на траверзе. Дик Сьюкки взглянул вбок и зарыдал, не выпуская из рук штурвала.

— Билли Палкой! — вылетело из его пересохшего рта.

— Лево руля! — крикнул Барбанегро из последних сил, не сводя глаз с «Корабля мертвых».

— Есть лево... Билли Палкой!

Над бортом «Летучего голландца» вспыхнул огонь, потом грянул грохот. С шаланды стреляли.

— Там люди! — воскликнул Барбанегро в экстазе удивления. — Это — мстящие контрабандисты!

— Это не «Летучий голландец!» — подхватил Роберт Поотс со слезами счастья на глазах.

Шальная пуля раздробила лампочку у входа в камбуз, и вместе с этим выстрелом на рострах раздался острый, как бритва, крик Хлюста:

— Полундра! Капитан падает!

Керрозини, бегая в поисках убежища, зацепился нога-

* Шарик, который одеваются на бейфут гафеля.

** Оконечность всякого горизонтального или наклонного рангоутного дерева.

*** Место на корабле, где хранятся запасные части рангоута.

ми за рым и кнехт; если бы не рука Василия, он с дальнейшим грохотом низринулся бы в Черное море.

— Mater Dei! — простонал итальянец и, как худое бревно, скатился к ватер-вейсу.

— Вы спасены! — крикнула Маруся, — он — ваш спаситель! — указала она на Василия.

Снова грянуло несколько беспорядочных выстрелов. О сопротивлении нечего было и думать, потому что единственный исправный револьвер завалялся вместе с Фабрицием и Анной Жюри в забаррикадированном ими камбузе. Но Эмилио Барбанегро с помощью Дика увлекал яхту к верному спасению: шаланда отставала, слабый ветер был ей скверным подсобником в погоне. Четкие перемены курса, которые так легко удавались прекрасному «Паразиту», обессилили разбойничье суденышко.

— Пятнадцать румбов, право руля! — прогремела последняя команда Корсара, и нападающие остались далеко позади. Глухой далекий выстрел был их прощальным приветом.

— Переведи,— слабым голосом обратился Керрозини к Роберту Поотсу, покидая отеческие объятия Хлюста: — гадалка предсказала, что все покушения на меня останутся всеуе. — Затем он перевел пылающий взор на Бурдюкова. — Юноша, проси чего хочешь!

Бурдюков всем своим напряженным мозгом мгновенно принял радиодепешу из недр коллектива:

— Местком и орган! — потребовал он.

— Что? — перебил в недоумении Роберт Поотс.

— Местком и орган! — властно повторил Василий.

Пираты молчали.

— Да будет так, — сказал, наконец, озадаченный капитан, смутно чувствуя, что падает, как метеор, в темную неизбежность.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ,

знающая, что от смешного до страшного — один шаг, а от страшного до смешного — немногим больше

Опасность, подобно пароксизму лихорадки, тихо подкрадывается, когда мы беспечно греемся на солнце.

Троил и Крессида.

Дик Сьюкки брился. Встреча с «Летучим голландцем» подействовала на него освежительно. Страдания и сомнения время от времени искажали его мужественное лицо, но настроение у штурмана было в общем неплохое.

«Вы уже не будете называть меня оранжевым! — думал он. — Я срежу себя до корня. О, проклятый Роберт, ты у меня почешешься!»

Бритвы хрустели так, будто дикий динозавр грыз тонкие косточки птеродактиля. Блестящие осколки сверкали в красном солнечном луче, проникавшем в каюту сквозь открытый иллюминатор. Пол каюты был плотно усеян стальными лепестками. Издали доносились гнусавые голоса капитана и Анны Жюри, распевавших фашистские псалмы. В дверь осторожно стукнули.

— Войдите, — буркнул штурман, и в каюту вошел фотограф-моменталист.

— Дик! — произнес он тихо, — Дик! Сегодня мы будем грабить еще ближе к русскому берегу.

— Да? — спросил штурман, еще не совсем оправившись от своих непередаваемых словами мечтаний.

— Да, — подчеркнул фотограф, — у берегов моей родины. — Он помолчал и горько добавил: — Ван-Сук говорит, что нам это выгодно.

— Мягко стелет этот Ван-Сук! — поморщился штурман и сломал бритву.

— Да я ничего, Дик! Разве я за этого голландца заступаюсь? Наши гости правильно говорят по секрету: «Эксплуататор ваш голландец, и все. Капиталист!»

— Она говорит?

— И она тоже говорит. «Спайки у вас, — говорит, — нет! Вспомните веник»*.

Дик Сьюкки провел рукой по подбородку; половина бороды в растерзанном виде валялась на полу.

— Правильно! — крикнул Дик. — Какая же тут спайка, если одного с мешком, а другого с револьвером? И про веник — тоже правильно. Я б этого итальянца удавил большим пальцем.

— Говорят, что убить грех, — уныло сказал фотограф.

— Она говорит?

— Нет, не она. Фабриций.

Штурман презрительно вспомнил белое желе, именуемое корабельным священником, и наглое лицо хамелеона...

— Грех? — фыркнул он. — Странно! И кроме того, что такое Фабриций? Буза... И кроме того, убить — грех, а я говорю удавить!

— Все равно, — сказал фотограф, — все равно, помрет.

— Почему помрет? — удивился штурман, — может и не помереть. Бросим, брат, интеллигентные беседы! Итальянец наверху?

— Да. Поет итальянец. Что ж ему еще делать? Вчера опять тошнился.

Оранжевый штурман побагровел и нехорошо выругался.

— Да, что и говорить, — поддержал Петров. — Разве это капитан, если его тошнит?

— Позор! — проревел Дик Сьюкки. — Позор и притон!

Фотограф не выдержал:

— Дик! — прошептал он, стыдливо опуская глаза, — я принес вам одну вещь. Эта вещь — бумага. Вы должны

* Азбучная истина; см. хрестоматии (прим. автора).

написать о том, как вам плохо живется. — Он вынул из бокового кармана чистую полоску бумаги; Дик поглядел на подарок, как на ядовитую змею. — Это прислала она, — продолжал Петров тоном колыбельной песни: — она говорит, чтобы вы не унывали! Она говорит, что ваше рабство скоро кончится! У нас в кубрике будет висеть большая газета! Вы должны написать туда, что вас мучают. Посмотрите, — крутом жизнь! Кипит ключом! Поют ласточки! Она просила вас сделать это...

Дик Сьюкки, прерывисто дыша, отошел в угол каюты и стал на колени спиной к Петрову.

— Вы будете молиться? — робко спросил фотограф.

— Нет, — ответил штурман дрожащим голосом, — я развязываю свои вещи.

Но консервативные пальцы не слушались велений души. — Помогите мне! — попросил он фотографа, подымаясь с колен. — Вы умеете развязывать двойной брамшкотовый узел?

В руках Дика дрожал четырехугольный сверток, перетянутый красным ситцевым платком. Великая любовь к человечеству помогла Петрову справиться с замысловатым узлом, заплывшим грязью и салом времени. Пергаментная бумага развернулась и обнажила полуистлевшую желтую книгу без переплета... «Сказки Ганса Христиана Андерсена» — с трудом разобрал Петров английскую надпись на заглавном листе.

Дик Сьюкки нащупал в книге пачку документов и огрызок карандаша.

— Я когда-то водил этим карандашом, — сказал он, вкладывая между страницами чистую полоску бумаги, принесенную фотографом. — Я подумаю и напишу. Мне сорок девятый год! — Штурман снова увязал свои пожитки в платок и положил их на старое место. Фотограф тихо потянул к себе дверь, чтобы выйти на палубу, но тотчас же отскочил: на пороге стоял капитан Керрозини.

«Подслушивал!» — с отчаяньем подумал фотограф.

Итальянец нетвердыми шагами вошел в берлогу своего врага; черные глаза на бледном лице сочились злобой.

Правая рука капитана была зажата в кулак, а ворот куртки разорван. Дик приготовился к прыжку; но, заметив движение его мускулов, капитан криво усмехнулся и четко произнес:

— Штурман, простите меня, я был неправ! Я не умел выбирать себе сторонников. Я только что узнал, что предательство и ложь окружают меня.

Дик Сьюкки часто заморгал глазами, боясь растрогать-ся. Капитан протянул фотографу белый от напряжения кулак и медленно разжал его, отгибая по одному пальцу. На доверчивой ладони лежала смятая бумажонка.

— Читайте вслух! — приказал он.

Петров нехотя повиновался. Напрягая глаза в наступающих сумерках, он прочел:

«Уважаемый господин Керрозини!

Исходя соками, чтобы когда-нибудь хорошо устроиться, мы не замечаем, как нас обманывают наши хорошие знакомые на каждом шагу. Разве можно за кого-нибудь поручиться, что он не подлец? Я не ручался и я не заинтересован, но если вы хотите знать, кто это — так это вегетарианский повар Анна Жюри! Я бы на него не поставил ни пенса. Он уже сделал свое дело. Я сам видел, как он зашивал смалерованные деньги в свои штаны. Поверьте мне! Если я не подписываюсь, — это еще ничего не значит.

Один добροжелатель».

— Подлая собака, — прохрипел штурман, оправившись от негодования. — Идем, друзья, повесим его на рее!

Капитан схватил его за рукав:

— Это опасно! Мы ничего не знаем. Всюду враги.

— Что правда — то правда, — гмыкнул Дик, останавливаясь. — Что же делать?

— Надеяться, — застенчиво прошептал фотограф. — Надежда питает, вообще.

Новые друзья молча покинули каюту. Резкий ветер слепил глаза золой догоревшего заката. Неуютное море стонало, как совесть.

— Кто бы мог написать это письмо? — спросил фотограф, зябко подымая воротник куртки.

— О, если бы я мог знать это! — откликнулся капитан. Его терзали предчувствия. Неизвестная бухта, где «Паразит» ожидал ночи, казалась выбитой морем в вековых залежах черной меланхолии. Палуба была пуста.

— О, если бы я знал, кто может нам помочь! — продолжал капитан с опасной страстностью. — Я — жертва интриг! — Природная доверчивость и доброта помешали мне выдвинуться. Секретное благородство происхождения заставляло меня быть несправедливым, но я умею каяться. Если бы даже самый обыкновенный человек протянул мне руку помощи, я бы не побрезговал пожать ее!

— Шалунишка! — сочувственно пробормотал Дик.

Они уже стояли на шканцах, беспомощные и недоумевающие, когда Петров решился произнести вслух:

— Нам всем, кроме предателя, надо устроить общий совет... Вспомните веник.

Керрозини сжал ему пальцы, но не успел ответить, потому что из люка выскочил Роберт Поотс и, сломя голову, пробежал в каюту, где жили пиратские гости. Через несколько секунд напряженной тишины оттуда высыпало все население. У камбуза к ним присоединились священник и Корсар. Грозная группа безмолвно окружила помертвевшего капитана. Следующая секунда, однако, не принесла ему ни смерти, ни плена.

— Лева выпал! — отрапортовал по-русски Роберт Поотс.

— Промежуткес исчез, — отрезал Хохотенко.

Его слова подтвердил лишь жалобный всхлип фотографа. Затем от группы плавно отделился патер Фабриций. Без излишних звуковых эффектов он подошел к борту и проговорил, подымая руки:

— Из моря ты взят и в море отыдеш!

В это время сверкнула синяя молния. Море вспыхнуло, как пуншевая чаша.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ,

в которой автор напоминает между строк, что он является лишь рассказчиком правдивой истории и обязан проявить по отношению к своим героям максимум доброты

— Да, нелегко слезает старая кожа, — произнес Каа.

К и п л и н г. —
«Маугли».

— Я ошибочно полагал, что он где-нибудь внизу, — объяснил капитану Роберт. — Мы ищем его уже больше часа. Мои личные предположения носят сбивчивый характер. Постель, которую он покинул, не постлана и смята.

Короткий буйный дождь почти прекратился. Капитан устало вытер лоб рукавом.

— Клянусь громами! — подтвердил Барбанегро слова Роберта. — И я еще дремал после безумной ночи, когда мне сообщили об этом. Не годится допускать катастрофу на корабле, где есть девушка ! Мы бродим каждый сам по себе и не знаем, что творится у нас под носом!

— Проследуем в кают-компанию, — предложил капитан.

Когда пираты сбились в кучу под низким кровом салона, капитан дал знак фотографу огласить подметное письмо. Роковой документ, зачитанный в тесном кольце тишины слабым и прочувствованным голосом, произвел на экипаж яхты должное впечатление.

— Я догадываюсь, — сказал Роберт Поотс так тихо, что головы соратников потянулись к нему, как подсолнечники к солнцу, — я подозреваю, что это письмо написал кто-нибудь из находящихся на яхте.

Вздох нетерпеливого разочарования вырвался из груди Хлюста.

— Я очень подозреваю, что это — ты, Роберт Поотс! — буркнул беспризорный и отошел, чтобы подразнить канарейку, заладившую свою вечернюю песнь.

— Проклятая система невежества и эксплуатации! — задумчиво процедил сквозь зубы Опанас.

Барбанегро, стоявший со скрещенными на груди руками, чуть заметно вздрогнул:

— Скажите членораздельно! — воззвал он к нахохлившемуся Опанасу, — я буду переводить ваши слова с русского берега на английский, как верный лоцман.

— «Есть такое дело!» — горячо подумал юноша. — Проклятая система невежества и эксплуатации! — повторил он громко. — Я говорю.

— Пусть говорит немедленно! — велел Керрозини.

— У нас есть враг, — начал Опанас.

— Тысяча врагов! — подхватил Корсар.

Агитатор повысил голос и, вскарабкавшись на стол, сел по-буддийски:

— У нас есть враг. Цепкий, как паук, он пьет нашу кровь! Обутый и одетый, как принц, сытый, со всеми удобствами, электрифицированный, как морской спрут, он выжимает из нас последний разум!

Пираты с глухим ропотом облепили стол. Их исхудалые лица пылали злобой.

— У нас есть враг! — бесстрашно продолжал Хохотенко, — пользуясь нашей храбростью, он трусливо жиреет в своей норе! Наше невежество в экономических вопросах, наш мелкий эгоизм, наша оторванность от своего класса, — его главный козырь. Наши ссоры между собой облегчают ему его страшное дело. Каждая ссора падает золотой монетой в карман паука! Здесь, у нас, — одна часть населения натравливается на другую, а паук богатеет и вьет себе гнездо в наших густых волосах!

— На рею паука! — дико крикнул, по-русски, капитан Керрозини, вздрагивая всем телом.

Все отхлынули от него в испуганном недоумении.

— На рею Анну Жюри! — заорал Роберт Поотс, невольно поборая своим возгласом общее замешательство.

Агитатор властно поднял руку:

— У вас есть враг. Этот враг — исковеркавшее вас буржуазное общество. Этот враг — голландец Ван-Сук.

В салоне воцарилось каменное молчание. Опанас спокойно слез со стола и, зацепившись поллой куртки за край пианино, принялся высвобождаться, неотступно провожаемый ошалелыми глазами пиратов.

— He has a reason! — внезапно зарычал Дик Сьюкки.

— Он прав! — крикнул Корсар, ударяя себя кулаком в грудь.

Молчание рушилось. Откуда-то из-под пола взлетели, ударяясь крыльями о низкий потолок, слова восстания и протеста. Руки с открытыми ладонями потянулись к Хохо-тенко.

— Тише! — сказал он, вздергивая брови. На столе, сгорбившись, стоял фотограф. Когда пираты выжидательно умолкли, он взглянул на Опанаса и, надрываясь, спросил:

— Что делать?

— Бороться ! — ответил предыдущий оратор из крепких объятий Дика.

Это воззвание приветствовала новая буря. Возвышаясь над ней снеговыми вершинами, патер Фабриций поднял, как святыне дары, своего хамелеона.

— Посмотрите на животное! — закричал в экстазе Роберт Поотс.

При электрическом освещении хамелеон, как это иногда с ними случается, отливал красноватым цветом.

Ответа не последовало: внимание пиратов отвлекли странные звуки, напоминавшие трубный стон слона. Они шли из раскрытых дверей, где спиной к публике странно сотрясался Корсар. Маруся, скромно ютившаяся доселе за спиной патера Фабриция, подбежала к испанцу:

— Барбанегро! Что с вами ?

— Я плачу, — глухо ответил Эмилио, — прошлое мое гнусно. Я — пират.

— О — нет !

Во мгновение ока Маруся оказалась на столе:

— Товарищи ! — звенела она, пронзая сердца пиратов электрическими искрами, — товарищи! Он плачет, потому что он — разбойник! Он думает, что он вне закона! Вы думаете, что вы изгнанники! Это неправда. Товарищи, вы, сами того не соображая, делаете общественно нужное дело!

— Хип-хип ура! — бессмысленно прохрипел штурман.

— Товарищи! — не переставала звенеть Маруся, слезая со стола. — Товарищ! — пролепетала она, глядя уже Корсара по рукаву. — Посмотрите на себя!

— Я — пират! — упрямо сказал испанец.

— Товарищ, пойдем на свежий воздух!

Эмилио повиновался. Они медленно подошли к борту; в потные лбы подул холодный ветер; из кают-компаний доносились бодрые возгласы.

— Возьмите это, — прошептала девушка, доставая из-за корсажа маленький хрустящий пакет.

— А что это такое? — спросил испанец дрогнувшим голосом.

— Это — право на жизнь! — Она клюнула его в губы быстрым поцелуем и убежала. Он развернул подарок, оказавшийся аккуратно исписанным листком бумаги и при свете угольных лампочек прочитал, глотая рыдания восторга:

Анкета (для заполнения):

Год, число и месяц рождения.
Пол.
Социальное происхождение.
Специальность.
Квалификация.
Национальность
Что делали до 17-го года
Что делали после
Холост или женат.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ,

причем автор предупреждает, что мнения, высказанные в ней — его собственные мнения, и что смеяться над ними иначе, как добрым и товарищеским смехом, он не позволит

Два дня прошли в красноватом тумане, без грабежей, без прибыли, без бурь. Продовольствие истощилось; ели всухомятку. Анна Жюри хворал, окопавшись в теплом хозяйственном мусоре. Пасмурный ветер дышал почему-то острым ароматом гвоздики, и у капитана разболелись зубы. Глухой к окружающей возне, он шагал взад и вперед по капитанскому мостику или таился с тихим визгом в своей каюте. Корсар и Дик Сьюкки сменяли друг друга у руля. Роберт Поотс окончательно покинул машинное отделение, чтобы носиться по всем закоулкам с Сенькой Хлюстом; Юхо Таабо, обойденный общим шумом, дышал в машину, а из каюты для гостей доносился, казалось, ровный механический стрекот — это работал коллективный мозг.

На утро третьего дня Опанас Хохотенко очнулся перед стеной кубрика. Качало. Но всю ширь стены расстилалось, мерцая следами клея, пестрое поле деятельности; на севере его, то есть наверху, на лазурном фоне, по коему энергично плавали золотые солнца, серебряные луны и червонные звезды, стоял дюжий детина с розовой волосатой грудью; оранжевая рубаша облекала чудовищный торс его с узкой талией, а черные волосы ниспадали на высокое чело... Черепная коробка Опанаса наполнилась той особой теплотой, которая отличает в человеческом сознании явь от сна, и он трезво перечел от доски до доски творение последних сорока восьми часов...

«КРАСНЫЙ ПИРАТ»

Еженедельный орган сознательных мореплавателей

Н а с т р а ж е

(передовица)

Странная деятельность яхты «Паразит» не может быть не отмечена будущим историком. Ведь борьба с контрабандой есть не что иное, как борьба с экономической контрреволюцией за усиление народного хозяйства! Деклассированный экипаж яхты невольно прилагает все усилия, чтобы помочь возрожденной промышленности Советского Союза. Это глубоко знаменательно ! Это доказывает, что историческая необходимость и властный экономический рок ведут даже деклассированный элемент ко дню его сознательного рождения.

Мы выполняем одну из обязанностей пограничников! Мы не впускаем беспощинных товаров! Мы проучаем контрабандистов, сдирая с них шкуру за их же товар! Откровенно говоря, контрабанда — временное зло, которое скоро окончится, ибо контрабанда может существовать до тех пор, пока не уничтожены границы! Вывод отсюда ясен, как пуговица. Теперь дальше.

Мы, однако, поступаем хотя и хорошо, но с дурными намерениями, так что все-таки в глубине души мы — социально-опасный элемент! В этом виновата исключительно наша несознательность и рабское воспитание!

Вопрос: Почему мы страдаем ? За что боролись? За что мы не спим ночей и убиваем лучшие годы?

Ответ: Чтобы наживался злостный эксплуататор, капиталист Ван-Сук и его приспешники!

Вопрос: Чем он завлек нас?

Ответ: Участием в прибылях! Вот та удочка, на которую пошли массы!

Вопрос: Доколе мы будем терпеть иго тиранов?

Ответ: Долой! Попили нашей кровушки! В наших руках все: машины и труд. Экспроприируйте экспроприаторов! Долой акулу Ван-Сука! Да здравствует сознательный коллектив, идущий через ошибки к светлому берегу!

«К о т в е т у!»

Три с лишним месяца мы наводим страх, но кто подсчитал, сколько мы выручили с этого страха? Где учет, где план, кто бухгалтер?

Что такое заработок? — Данные ! Что такое данные? — Четыре единицы за ночь (в среднем). Что такое девяносто кровных ночей? — Это триста шестьдесят полноценных единиц! В каждой единице не менее 3-4 пудов товара! Итого $3 \frac{1}{2}$, помноженные на 360! Равняется 1.260 пудам! Один фунт, по минимальному контрабандному набору, — 5 р. 80 к. Итого $40 \times 1.260 = 50.400$ фунтам!

$5.80 \times 50.400 = 292.320$ рублей!

Эта цифра — стоимость нашей продукции!

Расходы:

вегетарианский прокорм, стоимость горючего, содержание берегового представительства, расход по ажиотажу ни в коем разе не могут превышать 92.320 рублей!

Пусть даже так, но где же остаток? Где чистый доход в 200.000 руб.?!

Требуйте раздела, пока не поздно! Требуйте расчета у главарей! Не давайте себя одурманить подачкой, которую богач, мерзавец, сукин сын, капиталист, прохвост Ван-Сук бросает со своего роскошного стола! Эксплуататоров — к отчету! Поработителей — к стенке!

Лева Промежуткес.

(Эта статья найдена под подушкой безвременно погибшего товарища).

«С в о б о д н а я т р и б у н а»

Одернуть зарвавшегося!

Я много страдал. Меня обижали. Я езжу очень давно на разных пароходах и все забыл, но начальство всегда кровавое и незаконнорожденное. На этой яхте «Паразит» меня мучили юзином* и револьвером, но теперь все прошло. Я только хочу есть. Хочу есть! Хочу есть! Хочу есть! Пусть погибнет притон трезвости, который у нас в камбузе! Я хочу мяса! Нас обманывают! Овощи человеку нельзя есть! Да здравствует новая жизнь!

«У т р е н н я я п т и ч к а»
(перевел фот. Петров).

«П р е д а т е л ь, к а к о н е с т ь»

Некоторые, будучи неприспособленны к труду и развратны, любят зарабатывать легкую наживу. Они продают своих товарищей, которых сами ломаной подметки не стоят. Пусть они увидят себя здесь, как в зеркале, и пусть они знают, что близится час расплаты и возмездия.

Список провокатора будет опубликован в следующем номере «Красного Пирата»; пока мы сохраняем грозное молчание.

«К р а с н о е о к о»

* Тонкий линь в три каболки.

«Поп, как таковой, или опиум для народа с хамелеоном»

Поп, конечно, толстый и такой ленивый, что от него даже пахнет свиным молоком. Всю жизнь он сидит и жиреет в машинном отделении на складном стуле и время от времени выходит обманывать народ, а пользы от него столько же, сколько от разноцветного хамелеона — одно счастье, что не гадит. Наверно, он человек ничего себе, только со-
вращенный. Видно, что он простой, необразованный дядя и влип в собственную несознательность. Раньше он был повар, даже с мясом, а сейчас топнет в вековой лжи. Нужно, пока не поздно, вытащить его, и пусть займется честным трудом.

«Не узнать»

НЕКРОЛОГ

В ночь на пятницу неизвестная случайность или неосторожное обращение унесли от нас тов. Промежуткеса. Мы не выяснили, кто он и откуда, и погиб он также на стороне, невидимо для глаз. Был он словно кустарь-одиночка; в поступках его проглядывал индивидуализм, но мы тоже совершили ошибку — надо было бережней относиться к неустойчивому элементу, стремящемуся стать сознательным. Но, по всей вероятности, был он хороший товарищ и подающий надежды экономист. Последние дни он провел в беспамятстве, а в минуту просветления назвал свою болезнь «жукизмом». Но что бы это ни было — это козни старого мира, который, погибая, старается подтачивать сла-

бейших из нас, хотя бы изнутри. Да будет тебе, дорогой Лева, море пухом!

«Литературный отдел»

Как мы отрезали турку бороду

Пиратская новелла

Тогда мы ходили к Батуму.

Ночь висела над морем, безмятежно опираясь на смутное кольцо горизонта. Лиловая луна затмевала недостижимые золотушные звезды. На ногах крюйс-бом-брам-рей и фор-трисель-гафелях¹ вспыхивали призрачные огни святого Эльма.

Стояла трогательная элегическая тишина и поздний час черного бокала, когда мысли похожи на фока-топелант² и копыто тяжеловоза. Романтическое молчанье шло на бесшумных крыльях, и с ним приплывали миражи далекой, как итальянское сирокко, юности. Кофель-бугель!³

— Сегодняшняя работа окончена, — думал я, привалившись на гакаборт: «Шесть фелюг, иол⁴ и шаланда. Ио-хо-хо, неплохая добыча! О, счастливый сын Альбиноса! Море и ветер. Покой и море».

Я зорко глядел в морской простор. Его озаряла луна. Было... пустынно... Но нет. Не далее, как в пяти кабельтовах. Зачем? О, девятая... Кто вышел так поздно в открытое море? Чье трусливое сердце бьется под дырявым рангоутом утлого суденышка? Жертва не ждет!

¹ Части рангоута (*прим. пер.*).

² Часть стоячего такелажа, крепит фока-рей к форстеньге (*прим. пер.*).

³ Буфель с гнездами для кофель-нагелей (*прим. пер.*).

⁴ Судно, имеющее вторую мачту поменьше на корме, позади головки руля (*прим. пер.*).

О, мы не дремлем! С потушенными огнями, как орел, мы настигаем, хватаем, пленяем, н... это была неплохая награда за бессонную ночь: безумец, он вез в нашу пасть дорогое сукно, духи и прочие и прочие товары!

— Кто здесь, о несчастный, ответствуй мне! — вскричал я.

Но молчание было мне ответом, неслышным шагом пересекали небосвод звезды, катилась луна. Ужас и страх... Страх и ужас отняли язык у негодаев. Двое из них забились под корму, и только трусливый щелк зубов, да тусклое поблескивание глаз слышались оттуда. Смесь жалости и сострадания узкой змеей уже начали пробираться в мое сердце, но старик, трясущийся под хромой мачтой, блеском стали отогнал ее (жалость). В его руке сверкал и переливался дамаский клинок.

Я отразил атаку безумца. С кошачьей ловкостью я ударил его запрещенным приемом — ногой в живот — и он переломился, как бизань-мачта в бурю, когда у нее не зарифлены крьюйс-брамсель и крьюсель¹ и борода его опустилась до гика², как сигнал «терплю бедствие».

И в эту страшную минуту безумец разжал от боли пальцы, и ножницы (слушайте, слушайте) звякнули гулко на дно фелюги. Романтика! Ха-ха! Дамасский клинок.

Я поднял этот коварный инструмент и, зловеще щелкнув ими, трижды потряс ехидного старика за слабую грудь, а затем во славу Аллаха и «Паразита» артистически отхватил ему бороду.

— Клянусь твоей бородой, незаконнорожденная мокрица! — над морем прогремела ужасная клятва, и ей отвечивал укоризненный взгляд патера, стоящего на подзоре³.

Доблестные друзья уже дотаскивали товары и несколько звезд погасло — следы рассвета шествовали по далекому небу.

¹ Части бегучего такелажа.

² Дерево, к которому шнуруется нижняя шкаторина косого паруса.

³ Кормовая часть судна, не опирающаяся о воду.

«Роковое сердце»

Стихотворение

Вился, вился серебристый тополь
Над моей пытливой головой,
До пиратской жизни я дотопал
Своею собственной ногой.

Ну и что ж? Вот это — да! Пожалуй,
Скажете: как странно это все!
Как же так без грусти и без жалоб
Он ушел от городов и сел?

Ничего! Со мною столько солнца,
А погибну ежели, не плачь!
Это значит, с е р д ц е комсомольца
Завернули в огненный кумач.

В а с и л и й Б у р д ю к о в

«К о г д а ж е б у д у т ш а й к и?»

.....

.....

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ,

*которой, как человеку, ничто человеческое не чуждо, которая
жаждет счастья, играет с огнем, гонится за тысячей зайцев,
ходит по козогору — и побеждает*

— Доверь мне тайну твоего рождения, говори!

— Соммерсет, .. я — дофин!

Джим и я вытаращили глаза от изумления.

— Кто? — переспросил герцог.

— Да, мой друг, это — правда... Ты видишь перед собой в настоящий момент несчастного пропавшего дофина, Людовика XVI, сына Людовика XVI и Марии-Антуанетты!

— Ты? в твои годы? Ну, нет! Ты, может быть, Карл Великий; тебе, по крайней мере, шестьсот или семьсот лет!

— Горе сделало это, Соммерсет, горе! Заботы преждевременно убелили сединой мою бороду; от горя образовалась у меня эта лысина! Да, джентльмены, вы видите пред собой в лохмотьях и нищете странствующего, изгнанного, презираемого и страждущего короля Франции!

М. Т в е н. —

«Геккельбери Финн».

Пираты, за исключением повара и Гроба, еще толпились у стенной газеты, смакуя каждое слово, когда к ним неслышно подошел капитан. Зубная боль только что прекратилась, и капитану казалось, что во рту его расцветает весна. Уютно поздоровавшись и не переставая милостиво улыбаться, он зачитал про себя английский текст газеты; живописная группа морских разбойников напряженно следила за выражением его лица; вдруг капитан побледнел и вцепился в собственные плечи длинными ногтями скрепленных рук: заметка о предателе вернула ему память.

— Завтра казнь! — воскликнул капитан, кровожадно всасывая нижнюю губу.

Никто не ответил. Эмилио Барбанегро успокоительно обнял его. Итальянец чуть дернулся, как птичка в руках змеи, — и затих.

— Нас ждут дела, Титто! — мягко сказал Корсар в почтительной тишине, — Не давай воли страстям, когда слово принадлежит рассудку. Народное правосудие — выше мести!

— И всему свое время! — звучно подтвердил Хохотенко. — Переведите ему повежливее, чтобы он шел в нашу каюту, — ему хотят открыть тайну.

Ошеломленный итальянец, легонько подталкиваемый сзади фотографом и Хлюстом, проследовал в каюту для гостей. Здесь его поразила приятная неожиданность: за столиком, заваленным бумагой, сидела, приветливо улыбаясь, Маруся.

— Садитесь! — предложил Опанас, — сейчас вам откроют тайну... Сообразуясь с психологией! — бросил он Марусе быстрым шепотом, когда капитан сел. Маруся откашлялась:

— Я имею нечто вам сообщить, — начала она, — и, быть может, поздравить вас. На этом корабле есть законные наследники многомиллионного состояния. Весьма вероятно, что вы — одни из них.

Керрозини дернулся, как ужаленный электрическим током, хотя фотограф не успел еще перевести ему Марусиных слов. Девушка спокойно продолжала:

— Знайте, что пролетариат — самый богатый и могущественный класс на земле! Естественные богатства земли, которые никогда не выходили за пределы ее атмосферы, целыми тысячелетиями сохранялись для сознательного пролетариата! Злые самозванцы — буржуазия и интеллигенция — скрывали это от вас, пользуясь вашей несознательностью... Вот — наша тайна, которую мы собирались открыть вам. Откройте же нам теперь свою!

— Увы, я аристократ, — неуверенно ответил бледный, как смерть, итальянец.

— Товарищ Керрозини! — взволнованно продолжала Маруся, — до нас дошли слухи, что вы — не то, за что себя выдаете! Вы, из скромности, называете себя сыном презренного класса и подонком общества! Довольно, сэр! Откройтесь нам, как равный равным, и не бойтесь быть дурно понятым!

— Я — бедный итальянец! — простонал капитан и тотчас же в испуге откинулся на спинку кресла: от толпы, окаймлявшей сцену, отделился, сверкая глазами, Сенька Хлюст.

— Это неправда, чучело! — сказал он, глядя прямо в лоб Керрозини. Толпа зашевелилась. Фотограф деликатно перевел слова беспризорного их жертве.

— Это — неправда, байстрюк! — прохрипел, по-английски, капитан.

— Довольно переводить! — крикнула Маруся. — Вы понимаете по-русски! Неважно, к какой национальности вы принадлежите, но свободному владыке земли незачем больше лгать! Избранное общество, от которого вы отошли, исковерканный жизнью, прощает вас и возвращает вам ваши богатства!

— Между прочим, ты — русский, Титто! — с ласковой печалью подтвердил Корсар. Капитан корчился в кресле, закрыв лицо руками. Из его горла вылетали сухие рыдания, напоминавшие звуки колотушки ночного сторожа на пустынной улице русского провинциального городка. Бурдюков помог Керрозини встать и перейти в кресло, стоявшее у стола.

— Заполните анкету, — сочувственно буркнул Опанас. Маруся положила перед несчастным аккуратно разграфленный лист бумаги. Капитан поднял желтое лицо. Оно светилось чистотой...

— Я — мещанин города Бердянска, Борис Семенович Долинский, коммивояжер, — сказал он спокойно.

В каюте воцарилась тишина уважения. Капитан все так же спокойно обслонявил химический карандаш и склонился над анкетой.

Вдруг Эмилио Барбанегро гулко ударил себя кулаком в грудь.

— Нет! — крикнул он с такой силой, что движение воздуха едва не сбило с ног Хлюста. Маруся испуганно сложила руки под подбородком.

— Я! — крикнул Корсар еще громче, — не могу жить половинчатой ложью, когда даже эта сухопутная гримза находит в себе мужество сознаться! Братья! Я не родился больше среди боя быков! Кипарисы не качали больше головой над моей колыбелью в городе Барселоне, в доме № 11 на улице св. Магдалины!

Он вырвал из-за пазухи длинную смятую бумажку и поднял ее над головой:

— Вот моя анкета! Вот мой дом родной... Вот качусь я в санках по горе крутой... Я — Емельян Чернобородов, недостойный сын волжского грузчика! 12 лет я научился читать и в пятнадцать убежал к индейцам! Жизнь моя прошла в кривляньи перед самим собой! Я был несознате́лен, женщины меня не любили. Теперь жизнь принадлежит мне!

— Дядя! — пронзительно вскрикнул Бурдюков, бросаясь на грудь к Корсару. — Значит, ты — мой погибший дядя! Отец, умирая, рассказывал о тебе!..

Фотограф заплакал, отвернувшись вполоборота, как плачут старухи. Дрожа и всхлипывая, он не забыл, однако, перевести все происходящее Дику Сьюкки.

— Гип-ура! — проревел, наконец, этот истый сын Альбиона на языке родных буков. — Да здравствует истина! И я проколю бритвой первого, кто осмелится утверждать, что английский матрос не друг русскому грузчику!..

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ (А),

*таинственная постольку-поскольку, но в общем понятная
с точки зрения логического хода вещей*

Грязный кулек из-под абрикосов подкатился к лестнице и замер. На самой середине двора поднялась гибкая пыль, шипя и раскачиваясь, как танцующая змея факира. Пустынные нефтяные озера подернулись перламутром.

— Грязь... Вонь... Окурки... — говорило, ни к кому не обращаясь, узкое решетчатое окно Торгового дома. Овца кашлянула и в двадцатый раз взошла по ступенькам; на правой половине дверей по-прежнему висел огромный ржавый замок.

— Время проходит, — продолжало окно через головы современников (надо думать, оно путало зрительные и слуховые воспоминания в звенящих молекулах стекла)... — Гибель, гибель! Сырость... бумага... паутина... деньги... мыши... клопы... книги... подмышники дамские...

Из каменной расщелины между ступеньками выполз еще теплый и кислый со сна рыженький скорпион; овца с уважением съела его; оборванный замок лязгнул под ветром.

— О, — гей, сволочь! — вспомнило, бледнея, озеро нефти (я не имею другого глагола для передачи его физико-химических чувств). — Брось эти штуки! Аллах акбар! Мы пустим тебе нефть, керосин и масло!..

Кулек из-под абрикосов, облипший со всех сторон сладкой гнилью, вздрогнул. Над караван-сараям пронеслись, очертя голову, влажные сизоворонки; они летели, очевидно, с морской стороны к виноградникам, растущим на склонах Лазистана; над проклятым двором птицы стремительно не сошлись характерами и круто распахнулись: одни в европейскую часть города, другие — по старому пути.

Звеня отвердевшими от пота лохмотьями, в долину смерти вошел Хайрулла-Махмуд-Оглы. Он сел по-турецки на

каменной площадке лестницы и подал овце властный знак не говорить ни слова. Из глаз его снова посыпались слезы.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ (Б),

в которой яхта «Паразит» выдает еще две из своих капитальных тайн так легко и просто, как гора рождает мышь

Ранним утром, когда на всяком приличном судне бьют склянки (четыре двойных удара), яхта «Паразит» плавно вошла в Бухту пиратов и бросила якорь. Воздух был пасмурен и блестящ, небо заволоклось стеклянной пленкой, и на воде лежала серебряная тень солнца.

— Долой эксплуататоров! Смерть капиталистам! Каждому по потребностям! — ревели восемь вдохновенных глоток. — Даешь — к светлым берегам!

Маруся, шатаясь от нервного утомления, пробралась в камбуз: здесь ее встретил колющий взгляд вегетарианца. За последние дни француз стал похож на старую злую болонку, полную блох и тайных пороков. Он сидел на койке, натягивая на ноги шелковые носки, на полу стоял полураскрытый чемоданчик желтой кожи. Девушка не обратила на него никакого внимания. Она мучилась мыслью, что всеми забыто нечто страшно важное и безотлагательное.

— Ошибка, — томилась она, сжимая виски ледяными пальцами. — Нет, упущение! Снег... Похороны... Сосны... Что такое?

Обессиленная, она покинула кухню и, проплутав еще сколько-то времени, остановилась у входа в машинное отделение.

Муки сознания чудом прекратились. Девушка вспомнила:

— Юхо Таабо!

Гроб сидел спиной к дверям, склоненный за какой-то работой, которую Маруся не могла разглядеть. Разделенный по диагонали бледно-золотым солнечным лучом, он нашепывал, по-русски, тонкую песенку:

Хорошо тому живется,
Кто с молочницей живет!
Молочко он попивает
И с молочницей живет.

— Товарищ Юхо! — робко позвала Маруся. Финн обернулся и осведомился об ее самочувствии чешуйчато-серебристыми глазами.

— Как ваши дела? — ответила она громко вопросом на вопрос.

Гроб неторопливо встал и протянул ей квадратную салфетку красного цвета, усеянную шелковыми, розовыми маргаритками. Одному цветку не хватало нескольких лепестков, а в центре недовышитой тряпки оставалось круглое место для фантазии. Это была работа, над которой он корпел до прихода девушки.

— Почему вы всегда молчите, Таабо? — переспросила, удивленная до слез, Маруся.

Гроб отвернулся и, нагнувшись, поглядел в машину. Девушка всхлипнула и сжала кулаки:

— Не надо плевать в машину, Юхо! Почему вы молчите?

Он сел на складной стул патера Фабриция, профилем к гостю. Стул скрипнул, финн ударил его для прочности кулаком по углу и чисто проговорил:

— Не молчу я вовсе. Это вам кажется только, потому как вы нервного сложения, а что я не разговариваю — это правда.

Гроб искоса перевел на девушку птичий взгляд.

— Если бы я был доктор, — продолжал он, — тогда другое дело. А я мужчина в соку! Что мне в сумасшедшем доме разговаривать, заразу носить? Я за машиной хожу!

Маруся побледнела и расширила синие глаза.

— Вы с нами или против нас?

Таабо загадочно усмехнулся:

— Это — как советский суд рассудит, — я ему верю. Ежели скажет красный суд, что я мужчина дельный — пойду работать. Вот мы с вами и поговорили.

Гроб сжал твердые губы, чтобы больше не разжимать их, и принялся вдвигать нитку в иголку. Маруся хотела выскользнуть из машинной спальни, но вдруг остановилась и задрожала. Ее хлестнула по спине струя сиплого шепота. Девушка оглянулась: на полу спокойно пульсировали куски солнца, Юхо Таабо молча вышивал.

— Не замай, погоди! — захлебываясь, сипела невидимка. — Я юбку надену, — он у меня стыдливый! Не замай, товарищ!

— Вы мне говорите? — прошептала Маруся, глотая страх.

— Тебе, тебе! Погоди ужотко, крючок застегну.

Из-за бака с бензином вылезла ражая женщина с голыми бледными руками невообразимой толщины и туманным лицом, которое забывалось в то самое мгновение, когда на него глядели в упор; на ней были надеты только розовая исподняя юбка и грязный лифчик, из которого вырывались шипенье, шуршанье и цоканье животной жизни.

— Прости кочегара! Не замай! — захлебнулась баба, хватая Марусю за руку. — Он краснай у меня, только скромнай! Это я ево испортила. Бойтся он теперь, что изблюет его жизнь из уст своих!

— Брось, женщина, — тихо сказал финн, не подымая головы от рукоделия.

— Кто вы? — в ужасе спросила Маруся.

— Братьев Бландовых я. Эмигрантка. Молочница. За купца, по темноте своей, замуж вышла. Издох от меня купец-то: так меня бил усердно, что помер, — говорили многие, что я женщина роковая. Потом кочегар этот поволок меня по всем морям. В качестве мужчины я... Вам одной открываюсь!

Она заплакала...

— Я, как Робертушка наш; по-русскому — крестьянка простая, а по-аглицкому — сволочь!..

Вдруг от рыданий, сотрясавших ее тело, грязный лифчик лопнул по шву, и между застежками показалась серо-розовая голова какого-то освобожденного чудовища.

— Хамелеон патера Фабриция! — вскрикнула Маруся.

Баба проглотила слезы и вытащила животное на свободу:

— Так то ж я и есть секретно от всех патер Фабриций, — прошептала она, уставясь на девушку полными звериного отчаяния глазами. Маруся недоуменно заглянула в их желтую глубину, перевела взгляд на узкий лоб женщины, на ее острую макушку, на маленькие помятые уши с проколотыми мочками и шаг за шагом восстановила в памяти образ корабельного священника.

— Пойдем, тетка, в женотдел! — бодро сказала она, выдавая внутреннее напряжение лишь легкой дрожью в голосе. — Поговорим. Выясним. Поможем.

Женщина робко оглянулась на своего сожителя: он продолжал молча вышивать салфетку. Тогда она безропотно заплыла за бензинный бак и, накинув на себя белую хламиду, поплелась за Марусей.

— Да здравствует единение! Долой ставленников буржуазии! — ревело заседание в запертом кубрике. Ветер швырял по палубе солнечные мячи. Над турецким берегом с острым визгом кружились испуганные птицы.

— Акулиной меня зовут, — тревожно лепетала молочница, не поспевая за Марусей, — а он — как есть Юхо Таабо, так и есть. Матрос.

Вдруг обе задержались, привлеченные к рулевой рубке странным зрелищем. У нактоуза стояли друг против друга Роберт Поотс и Дик Сьюкки. В протянутых руках механика трепетала клейкая масса зеленоватой грязи, похожая на рвоту больного холерой и дышащая сероводородом. Дик Сьюкки глядел на влажный предмет с выражением детского экстаза: губы его были полураскрыты, а глаза часто моргали. Роберт Поотс что-то произнес, и живая грязь перешла в жадные руки штурмана.

— Братайтесь! — вдруг громко и уныло пролепетала молочница по-английски, взмахивая белыми рукавами.

Маруся с отвращением отпрянула от воскресшего священника.

— Ты чего? — встрепелась Акулина, сразу же забывая о присутствии Роберта и Дика. — Слышь, девушка? Он ему средство такое дарит, — волосы извести. В турецкой бане каждая собака знает.

Дик Сьюкки между тем пел, приплясывая:

— Гоп! гоп! Эй, литтль бирд, — гоп, гоп!

Гоп! гоп! Эй, литтль птица, — гоп, гоп!

— Да здравствует единение! Каждому по потребностям! Долой капитализм! — ревело заседание, вываливаясь из кубрика на палубу.

— Товарищи! — гремел Чернобородое, потрясая над головами соратников могучим кулаком. — Помните, что мы идем к ним не для того, чтобы соглашаться! Помните, что мы идем требовать от них ответа! Помните, что мы идем взять причитающееся нам по праву! Помните, что мы идем прощаться! Помните, что отныне мы работаем...

— На свой страх и риск! — крикнул капитан.

— Половину прибыли в пользу МОПР'а! — рычали вдохновенные глотки. — Да здравствует общий котел!..

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ,

полная таинственности и динамики, но достаточно приличная, чтобы потесниться и дать место небольшому подметному письмецу.

Nihil admirare*.

Анна Жюри, запершись на крючок в гальюне, трясся, как осиновый лист, в предчувствии самых разнообразных событий. Уже готовый к сухопутному путешествию по цивилизующейся стране, он неожиданно и противоречиво заболел: его тошнило, он страдал неистощимым поносом, голова его кружилась, к горлу подкатывали спазмы, сердце билось, как телячий хвост, а зубы разболелись так, что маленький иллюминатор гальюна казался французу с овчинку, — что, в сущности, соответствовало истинной величине иллюминатора. Нежилое место, озноб и сырость ввели мысли вегетарианца в самое мрачное русло; малейший стук за непрочными гальюнными стенками заставлял, впрочем, Анну Жюри отрывать от этих мыслей, чтоб ухватиться за еще более страшные и печальные. Крики, грохот, песни, визг, лязг уже почти лишили его жизни, когда он уловил отмирающим ухом успокоительное рокотанье моторной шлюпки, отвалившей от яхты... Вегетарианец осторожно открыл дверь, понюхал свежий воздух и, шатаясь, вышел на палубу; моторная шлюпка, нагруженная экипажем «Паразита», спешила к берегу. Оставшиеся отдохнуть Маруся и Хлюст лениво расходились по своим будуарам, а по пятам за Марусей следовали неприлично взбодренные пATER и его хамелеон...

Бурдюков, Опанас, Корсар, Роберт Поотс и бывший итальянец взобрались уже на перекаат нависшей над бухточ-

* Ничему не удивляйся (прим. переводчика).

кой скалы и бодрым маршем отправились в Трапезонд, дымившийся в стеклянном тумане. Встречный турок с удивлением поглядел на возбужденную группу иностранцев, приподнялся с арбы и, вероятно, испугавшись их воинственного вида, ожесточенно погнал чахлую лошаденку в сторону.

Десять миль, отделявшие бухту, в которой отдыхал «Паразит», от торгового дома Ван-Сук и Сын, пролетели, как сон, под ногами команды. Предвкушая удовольствие узреть разоблаченные рожи эксплуататоров, воинство, предводительствуемое Емелей Чернобородовым, вошло в узкую улочку, население которой в ужасе распахалось по мгновенно отверзшимся калиткам.

Воинство завернуло за угол и, не меняя темпа, ринулось к караван-сараю Хайруллы-Махмуд-Оглы.

— Долой эксплуататоров, смерть капиталистам, экспроприаторов — к стенке! — пересохшими губами повторяли Роберт Поотс и Долинский, чтобы во всеоружии встретить капитализм лицом к лицу...

Неожиданное зрелище исторгло из их груди вопль ярости. Казалось, над караван-сараям пронесся ужасный тайфун... Вывеска Торгового дома валялась на растерзанном дворе, измятая, как заплаканный носовой платок: лужами слез расплывались нефть, керосин и масло... В хаосе разрушения герои еле заметили тощую фигуру турка, державшего в объятьях тихую овцу с пышной шерстью. Глаза турка глядели вверх, глаза овцы блуждали. Фотограф и Роберт бросились в помещение конторы, но споткнулись на пороге: тайфун побывал и здесь. Изломанные столы, превращенные в щепы стулья, бисер счетных косточек перемежались с какими-то изодранными галстуками, подтяжками и подтеками излитых на стены чернил. Вырванная с мясом внутренняя дверь прикрывала трупы конторских книг, ресконтро, записей кредиторов... В глубине натюрморта была начертана мелом на полу матерная фраза на русском языке. Пираты стояли, как пораженные молнией. При виде погрома возбуждение их упало, и языки сковала оскомина похмелья.

— Плакала наша доля, — грустно сказал Роберт. — Как говорил покойник Промежуткес, она была не маленькая.

— Плевать на эту долю, товарищи! — подбодрил Опанас. — Ваша доля будет много лучше! Доля в прибылях только удочка.

— На нее ловятся массы, — кивнул фотограф. — Вот мы и не у дел! И у меня осталась последняя дюжина пластинок.

Чернобородов сжал плечо Бурдюкова так, что у юноши хрустнули кости.

— Знаешь ли ты, о чем я хочу спросить? — сказал Корсар. — Говори прямо, племянник!

Бурдюков вспыхнул и, дернувшись поближе к Опанасу, тихо солгал:

— Не знаю.

Чернобородов отчеканил:

— Я хочу спросить, можете ли вы взять нас с собой в Советскую Россию ?

Пираты затаили дыхание на высшей ноте...

— Да или нет?! — выкрикнул Долинский.

— Не ссорьтесь, дети мои! — поспешно вступил Опанас, — поговорим о настоящем.

Капитан пронзительно поглядел на него своим прежним, итальянским взглядом, — но то была лишь агония старого.

— Мы хотим будущего!

— Мы думаем раскаяться и стать честными людьми, — неожиданно заявил Роберт Поотс.

Бурдюков стиснул зубы:

— Вас будут судить, — грубо сказал он, терзаясь жалостью.

Прошла минута отвратительного молчания.

— Хорошо, — просто сказал Долинский.

— Очень хорошо! — преувеличил Корсар. Фотограф радостно высморкался за себя и за Дика Сьюкки.

— Вы слышите? — закричал с опозданием Роберт, розовея от восторга, как утренняя заря, — вы слышите? —

Нас будут судить, как честных людей! Нас приглашают судиться! Нас принимают!

— Урра!! — грянули пираты.

Бурдюков облегченно вздохнул:

— Нас тоже будут судить. Поговорим дома. Пошли!

Весело расшвыривая ногами колючки и шишки Торгового дома, пираты тронулись в обратный путь. У ворот караван-сарая их встретил турок с овцой. Бурдюков для вежливости погладил овцу по загривку.

— Селям алейкум, йолдаш, — сказал он сочувственно.

Турок вскинул на Василия красные глаза и слабо ответил на приветствие. Вдруг юноша приметил, что взгляд старика метнулся в сторону, а лоб мгновенно пересекся продольными и поперечными морщинами: сотую долю секунды турок ловил в образовавшуюся сеть жуткое воспоминание; затем глаза его удовлетворенно сузились, а в углах губ залегла жестокая складка; отбросив в сторону овцу, он старческими шажками подбежал к Барбанегро и схватил его за руку.

— Мошенник! — закричал турок, подпрыгивая, как на сковородке, — мошенник! Отдай мне мою бороду!

— Он просит вас отдать ему его бороду! — поспешно перевел с турецкого фотограф, — это, вероятно, тот турок!

Лицо Эмилио покрылось испариной; он отер ее тыльной стороной ладони и залился краской, как девятилетний мальчишка, уличенный на месте преступления. Вдруг капитан заслонил его от кредитора своим коротконогим телом:

— Борода — у меня, — сказал он, не сморгнув. — Она валяется у меня на пароходе.

Турок затрясся в новом пароксизме злобы...

— Я буду переводить! — страдальчески шепнул фотограф, — я буду переводить эту интересную сцену!

— Иншаллах! — кричал Хайрулла-Махмуд-Оглы, вздевая к небу дряхлые руки. — Уаллах! Я нищ и стар, и дом мой разрушен до основания... Соплеменники мои снесли с лица земли лавочку нечестивцев, а меня за попустительство отдали на произвол судьбы. О Аллах! Свято выполнял я прежде намаз, — и ты послал мне двух ангелов, шеле-

стевших деньгами, — и ангелы обманули меня! В нищете и старости хранил я единственный залог твоей любви — тридцатилетнюю бороду — священный отросток! Как жену гладил я ее в минуты раздумья и, как жену, щипал ее, сетуя на врагов! Нечестивцы отняли мою бороду, Уаллах! И ты не поразил их громом! Третий день я ничего не ел, и нет у меня больше перспектив! Вах, Мухаммед! Я стою пред тобой голый на голой земле!..

Голос переводчика прервался от волнения. Бурдюков вплотную подошел к турку и, подпрыгнув, схватил его за локоть :

— Идем к нам, старик!

Хайрулла-Махмуд-Оглы хотел плюнуть в лицо ему, но сдержался. Может быть, светлый огонь в глазах юноши удержал турка от последней ошибки.

— Прости меня, отец! — тихо сказал Корсар, склоняя голову перед владельцем разрушенного караван-сарая. — Прости меня и позволь охранять твою старость!

И Хайрулла-Махмуд не успел опомниться, как его подхватили и повлекли куда-то несколько пар молодых рук.

— Овца моя! — прохрипел он, теряя Аллаха.— Овца!

Фотограф, запахивая на бегу развевающийся пиджачишко, помчался за овцой; она хрипло дышала в углу караван-сарая. Петров взвалил ее себе на плечи и бросился догонять компанию.

В полном боевом порядке пираты двигались к своему плавучему очагу. Бурдюков и Чернобородов несли на скрепленных руках Хайруллу-Махмуд-Оглы. Живот его болтался, как вымя, — и три полицейских чина провожали шествие на почтительном отдалении, беседуя о мудрой политике Кемаль-паши. Десять верст, уже пролетевшие сегодня, как сон, под ногами пиратов, повторились с обратными подробностями.

— Нах хаузе! Нах хаузе! — пел Роберт Поотс в такт шагам, —

От пыльных лагерей!
Нах páраход! Нах «Пáразит»!
Ничто нам не грозит!

Но яхта встретила их гробовым молчанием и странными новостями: у борта ходил на цепи Анна Жюри в белом костюме и с чемоданчиком в руках. Юхо Таабо подтянул шлюпку и, ничему не удивляясь, усадил турка на дек, скрепив ему по-портновски обмякшие ноги. Овца уселась рядом со своим хозяином, встряхнув оборки пышной шерсти.

— Откуда у нас такая новая цепь? — весело спросил капитан и скомандовал: — На заседание!

Маруся молча протянула ему большой пакет, в котором оказались старые клетчатые штаны вегетарианца. Хлюст, с присущей ему сдержанностью манер и мрачным аристократизмом, присовокупил к пакету исписанную четвертушку бумаги. Это было подметное письмо, найденное отцом Фабрицием. Оно было написано по-русски, карандашом, и содержание его было ужасно:

«Вы продолжаете греть змею! Чтоб я так жил! В-первых: вышеуказанный Анна Жюри не француз, во-вторых: тот же Анна Жюри — русский, и фамилия его Павел Чичиков. Он убежал в прошлом декабре месяце от советского учреждения, где был кассиром. То, что он продал «Паразит» и вашим и нашим, вы уже пока знаете.

С тов. приветом жмет вам руки

Лев Промежуткес.

Р. S. Между прочим, я жив».

Анна Жюри позеленел, как ящерица, и заметался на цепи. Из уст его вырвалось скверное французское ругательство... он пробормотал по-английски:

— О, будь трижды проклято мое вегетарианство! Не будь я толстовцем, я раздавил бы этого мозгляка, клеветущего на моих родителей! Подумать только, чтоб мой папа носил эту позорную фамилию Чичиков!

— Довольно, Анна! — строго сказал Долинский, — мы не верим вам. Отойдите от нас.

Вегетарианец прижал к сердцу бледные, как алебастр, руки.

— Клянусь Гавром и святым Николаем...

— Довольно, Анна! — звенящим, как сталь, голосом произнес Корсар Чернобородов. — Клянусь моей бородой, узнаешь ли ты эти штаны?

Павел Чичиков бросил взгляд на свои клетчатые брюки, в поясе которых были заштыты сребреники. Последние красящие вещества сошли с лица его, как снег под весенним солнцем; в ужасе лязгнули его коленные чашки, и обморок ли, смерть ли дали ему короткое ли, долгое ли успокоение.

— Унесите предателя! — гордо и безглаголиво сказал капитан. Глаза его скользнули по безмятежному горизонту. Спокойствие было разлито в природе, и маслянистую гладь моря еле морщил легкий зефир. Долинский задумчиво подошел к Корсару, положил ему руку на сердце, постоял в такой позе около минуты и затем упал к нему на грудь.

— Братишка! — завизжал он, — товарищ настоящий капитан, пожми мне руку!

Черная борода Емели скрыла позор бывшего капитана, отрекшегося от власти. Слабая улыбка сожаления и гордости чуть передернула приволжские губы; он пригладил сбившийся итальянский чуб друга и проговорил веско:

— Мятежный дух! Что заставило тебя колебаться и выбирать путь наибольшего сопротивления? Какие экономические силы изменили твой жизненный рейс? Покрыто это мраком, но пелена опиума уже сползает с лица тайны... Бедная душа, ты устала сдерживать свои рефлексy!

— О, Эмилио! — как ветерок, прошептала Маруся. — Я всю жизнь ждала тебя! — И она упала на левую сторону его груди...

— Приди ко мне, дочь земли, — пробормотал растроганный Корсар, — в сущности, солнце тропиков высушило мои глаза, но мы будем идти в ногу с веком!

— Готово! — сказал фотограф. — Если меня не обманывает профинтуция, — это будет мой коронный снимок. — Он защелкнул кассету и на обороте надписал:

Яхта «Паразит» 154. Сцена братания.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Все хорошо, что хорошо кончается.

Шекспир.

В эту ночь никто не ложился спать. Разговаривали отдельными группами на шканцах, на рострах, на деке, в кают-салоне и в машинном отделении. В трюме пререкались последними словами господь бог и Анна Жюри (Павел Чичиков): в темном заключении у них не было даже игральных карт. Около полуночи произошел акт сбрасывания чадры. Юхо Таабо сам привел на людную палубу патера Фабриция и, не произнеся ни слова, снял с него священническое облачение, под которым оказались пестрая ситцевая юбка и толстовка, наспех сколотая из двух блуз фотографа.

— Дорогу работнице! — пронесся по палубе мощный клич, потому что все пираты были уже предупреждены Марусей.

После этого Гроб присоединился к компании, т. е. сел на борт и, попросив жеста у Роберта его гребенку, принялся наигрывать на ней народные финские песни. В знак сочувствия Марусе на палубе устроили уютный полумрак. Ровно в полночь Акулина, Хлюст и Хамелеон сошли на берег за провизией; быстро разыскав в Турции ночной вертеп, они вернулись, нагруженные бараниной и красным перцем. Хайрулла-Махмуд-Оглы продолжал спать, обняв овцу и положив ей голову на плечо. Пока молочница стряпала в камбузе поздний обед, Хлюст грелся в первых лучах Дика Сьюкки: лицо штурмана, освобожденное от векового гнета рыжей английской щетины, уже взошло на востоке палубы; статный и крепкий, с красными волосами, расчесанными на косой пробор, и трубкой в зубах, штурман повел беседу с беспризорным, тем откровеннее, что они говорили на разных языках:

Д и к С ь ю к к и (по-английски). Теперь у нас одно дело — расплеваться с пиратством и зажить честным трудом.

Х л ю с т (по-русски). Били палкой! Потому какая, к примеру, здесь жисть? Мильтонов нет, добра — по горло. А куда пойти, кому загнать?

(Порыв ветра)

Д и к С ь ю к к и (горделиво глядя подбородок). Я всегда знал, что люди братья. Только один брат хороший, а другой кровавый — незаконнорожденный.

Х л ю с т. Спасибо. Не нужно мне. У тебя у самого денег мало, а меня Опанас обещал на работу поставить.

(Легкий молочный туман стелется над морем. С ноков рей падают тяжелые капли росы. Поскрипывают снасти. Мягко рокошет море. Из кубрика доносится женственный кашель Роберта Поотса)

Д и к С ь ю к к и. В Советской стране нас будут судить, но у меня есть пролетарское происхождение... Только передать мне его некому: детей у меня нет.

(Радостно бьют склянки)

Х л ю с т (кашляет).

Д и к С ь ю к к и (со сладкой горечью). Билли Палкой! Вот идет истинный капитан и его невеста.

(Из-за фок-мачты показываются Корсар и Маруся. Они идут, прижавшись друг к другу, и дышат в такт дыханию моря. Падающая звезда на мгновенье освещает влюбленных)

К о р с а р. Любовь моя!..

(В трюме лязгают цепи)

М а р у с я (вздрагивает).

К о р с а р. Не бойся, дитя! Если бы совесть... (проходят).

Д и к С ь ю к к и (вполголоса, лирически):

Тари-ра-рам, увы, увы,
Эй хум ту хев хеп хеп!

(Из светлого квадрата кают-компании выходит Долинский)

Д и к С ь ю к к и.

Красотка Мэри для меня
Варила б суп и хлеб...

Х л ю с т. Брось, Сьюкки, тоску наводишь!
Д о л и н с к и й. Друзья, кто тут?

(Молчание. Слышно, как присутствующие обрастают идеологией)

Д о л н н с к и й. Товарищи, кто тут?

(Порыв ветра)

Г о л о с а. Это мы... Это мы... Это мы...

(Лязг цепей)

Д о л и н с к и й. Чичикова кормили?

А к у л и н а и Х а м е л е о н (подымаются из люка со свечой и миской, при чем дрожащее пламя озаряет Бурдюкова и Опанаса, сидящих на кнехтах). Я, надясь, ему бараньи обрезки носила. Наш обед когда ишшо поспеет, а предатель уже жрамши! Дела-а!

Б у р д ю к о в. Ел мясо?

А к у л и н а. А го как же? С костями сожрал!

О п а н а с (отрывисто). Лицемерие буржуазной культуры!

Д о л и н с к и й. Друзья и товарищи... Что делать с Анной?

(Пауза)

Г о л о с К о р с а р а. Высадить на необитаемый остров!

(У борта возникает Роберт Поотс)

Р о б е р т П о о т с. Мы догадываемся...

(Ироническое молчание)

Б у р д ю к о в (громко). Советский растратчик подлежит советскому суду.

К о р с а р (подходит с Марусей). Требую, как милости, последнего возлияния старой романтике!

(Общий ропот. Утренний бриз гасит свечу)

О п а н а с (про себя, с Гамлетовской рассудительностью, как бы мелодекламируя). — Предположим, он уже отсидел... Предположим, он уже вышел... В заключении он тачал сапоги и лепил для продажи ожерелья из черного хлеба... Этим легким трудом он скопил себе деньги в сберегательной кассе ардома... Вот он снова вступает на службу... и снова... растратил...

А к у л и н а. А беспрременно!

О п а н а с. Грязь и накинь старого мира нам не нужны! Старой романтике мы отдадим охвостье прошлого... (повышает голос): Бери его, Корсар — он твой!

К о р с а р. Мы высадим его на близлежащий необитаемый остров. Мы дадим ему воды, сухарей и пороху. Пусть живет!

М а р у с я. Милый!.. Есть ли острова на Черном море?

К о р с а р. О! Хм-м...

Р о б е р т П о о т с (возникая сбоку). Я полагаю, что остров — это кусок материка, окруженный со всех сторон водной пучиной.

(Рассвет. На грот-мачте вспыхивает розовый огонек зари.
Туман падает, как парус. Бьют склянки. Блеет овца)

С т а р ы й т у р о к (во сне). Алля, иль ля ла, вах Ма-
гомет рассуль алля! (просыпаясь) Тьфу! Маруся. С добрым
утром. Т у р о к (овце). Вах-вах, мамаджан! Льель-ля!

К о р с а р. Поднять якоря!

М а р у с я. Милый...

(Суета отплытия. Перемена мест слагаемых. Яхта крейсирует
в пяти кабельтовых от берега. Прибрежные скалы сбрасывают
утреннюю дымку)

Г о л о с ф о т о г р а ф а (сверху.) Остров на правом
галсе!

К о р с а р (с мостика). Необитаемый?

Г о л о с ф о т о г р а ф а. В этом роде.

К о р с а р. Стоп!

(Яхта останавливается неподалеку от каменного островка,
окруженного водой)

К о р с а р. Ввести преступника!

Д и к С ь ю к к и и Х л ю с т (на разных языках). Билли
Палкой!

(Выводят из люка помертвелою от страха узника. Глаза его
блуждают по нокам рей и, не найдя веревки, закрываются)

К о р с а р. Позвать кузнеца!

(Смятение)

К о р с а р. Расковать мерзавца!

(Двойное смятение)

Ю х о Т а а б о (медленно подымается из машинного отделения). Я тебя заковывал, я тебя и раскую. (Спускает Чичикова с цепи и возвращается к себе домой).

Х л ю с т. Издеваться-то будем или нет?

Ч и ч и к о в (трясаясь). Дя-деньки-и, не буду! Дяденьки-и, православные! Чтоб мне на том свете ни отца, ни матери!..

Д о л и н с к и й (произрастая из кубрика, где созрел для новой жизни). Довольно, Анна!

К о р с а р. Вас ожидает одиночество. В мире и молчании обдумайте содеянное вами. Разводите огород, копайте землю. Некоторые, как я читал, питались неплохо. Не мстить мы вам хотим, а исправить вас... Вот — остров, на котором вы окончите свои дни, если только встречная фелюга не подберет вас уже возрожденного для общества. Это — прелестный уголок. Сейте бобы, одевайтесь шерстью животных, размышляйте, купайтесь... Читайте книгу природы.

Ч и ч и к о в (мечется в ужасе). Я н-не ум-мею п-плавать.

Ф о т о г р а ф. Анна, Анечка!.. Я умоляю вас, спокойно!

Д о л и н с к и й. Мы учли это, Анна!

К о р с а р. Шлюпку! Припасы!

(Роберт Поотс приносит из камбуза сухари в полотняном мешке и анкерок с водой. Дик Сьюкки за шиворот спускает и шлюпку хрипящего в припадке Чичикова. Хлюст садится вместе с ними, все угрюмо молчат)

Ф о т о г р а ф (глотаая рыдания, защелкивает кассету). Готово. Кажется, передержал.

К о р с а р (Марусе). Принеси, котик, из моей каюты порох! На полочке справа, знаешь? В баночке из-под кофе.

(Маруся вихрем проносится в каюту капитана и обратно на капитанский мостик. Сьюкки принимает порох. Шлюпка отчаливает. Все взгляды устремлены на скалу. Вскоре Дик и Хлюст довозят пленника до места его успокоения.

Шлюпка пускается в обратный путь)

К р и к Ч и ч и к о в а. К-карраул!
К о р с а р (задумчиво). Бедный Павел!
М а р у с я. Не волнуйся, кися!
Д о л и н с к и й (игнорируя). Друзья и товарищи!
Славный «Паразит» избавился от бесславного паразита.
В с е (восторженно). Долой!

(Возвращается шлюпка)

Х л ю с т и Д н к С ь ю к к н (вместе). Билли Палкой!
(уходят, раскачиваясь, в рулевую рубку).

К о р с а р. Вперед! (Стучит машина. Яхта продолжает путь).

Б у р д ю к о в (с дикой энергией). Назовем же яхту новым именем!

К р и к и. «Первомай»! «Электрон»! «Витебск»! «Красная стрела»! «Смерть капитализму»! «Демьян Бедный»! «Маруся»!

М а р у с я. «Новобыт»!

В с е. Урра! Есть!! «Новобыт»!!!

А к у л и н а (выбегает из камбуза). Батюшки, соль-то забыли! И-и! Как же это он сухарь-то без соли?..

(Секунда гробового молчания)

К о р с а р (грустно, но веско). А он его и несоленого.

Н о в ы е к р и к и. Урра!!! «Новобыт»!!!

З а б ы т ы й голос (мягко). Ура!

(Все оборачиваются и, ахнув, в суеверном ужасе пятятся назад;
Роберт убегает в кают-компанию. Те же и Лева Промежуткес)

Л е в а П р о м е ж у т к е с. Голосую за «Новобыт».

(Тишина, шепот Маруси — «Молчи, не волнуйся»).

Л е в а П р о м е ж у т к е с. Я жил в крупе.

А к у л н н а (всхлипывает).

Л е в а П р о м е ж у т к е с. Что может стоять? — Мешок. Что может лежать? — Крупа. Что может сидеть? — Лева Промежуткес.

Б у р д ю к о в и О п а н а с (тепло, но робко). Здравствуй, Лева!

Л е в а П р о м е ж у т к е с. Что такое мысль? — Письмо. Что такое чувство? — Еще одно письмо. Что такое молчание? — Юхо Таабо! (кричит и машинное отделение). Юхо Таабо, я говорю им, что вы— золото!

(Со скалы доносится заглушенный крик: — «к а р р а у л!»)

Л е в а П р о м е ж у т к е с. Слушайте, что я вам скажу. Я-таки был безработным и я-таки играл на пианино в кинематографе. И меня-таки послали в дом отдыха, потому что я — член союза рабис. Слушайте дальше (садится на борт). — В один прекрасный день бедный безработный еврей сидит под пальмой. И слышит, что на скамейке под не пальмой разговаривают девушка и молодой человек. Она говорит, что проехать на лодке в Турцию таки да безопасно, а он говорит, что его выкинут из комсомола. Я говорю себе: «Лева Промежуткес! ты ешь государственный хлеб и ты дышишь советским воздухом, так зачем тебе, чтобы комсомол терпел убыток?» Так я сижу и размышляю, а в это время подходит другой молодой человек и говорит, что у него нет денег на фотографические пластинки. Потом они все вместе уходят в одну комнату. Тут уж я больше не могу терпеть и узнаю от них через подслушивание то, чего они сами не знают. Потом первый молодой человек говорит другому: «Ты — сволочь, ты у меня ее отбиваешь». Другой говорит: «Я тебе дам в морду». Тут я понял, что это два друга и, что, если я им не помогу, то пусть лучше с меня куски мяса падают! Письмо фотографа я тоже видел. А разве мне жалко отдать под пластинки последние два рубля? Я лег себе в лодку под кормой и спокойно лежал, пока не потонул. Так вы меня вытащили. Остальное известно.

Первое письмо помогал мне по-английски Юхо Таабо, второе я сам написал. Я жил в крупе.

(Удаляющийся крик со скалы: — «к - а - р - а - у - л!»)

Л е в а П р о м е ж у т к е с (сплевывает). Фуй! А если вас интересует мой обморок, так я вам отвечу, как мудрец: Что такое — страдать? — Притворяться. Что такое притворяться? — Страдать. Что такое Лева Промежуткес? — Кустарь-одиночка!

В с е (робко и вразнобой). Урра!

О п а с л и в ы й г о л о с. Может быть, качать его?

Л е в а П р о м е ж у т к е с. Нет, спасибо. Не обращайтесь на меня никакого внимания (поворачиваясь к турку). Что это у вас? Овца?

Т у р о к. У-ах!

Л е в а П р о м е ж у т к е с (присаживается к турку). Вы тоже едете?

'Т у р о к. Уээх!

(Овца воркует. Беседа принимает интимный характер. Поскольку яхта идет вперед, все становятся на свои места. Размякшая от слез Акулина вручает Леве своего хамелеона).

А к у л и н а. Я вам тут животное скину, — пушай играет! Как я в патерах ходила, с ним ку-уда сподручней было. А таперича хлопот полон рот...

Х а м е л е о н (овце, бесконечно-малым звуком). Бе-е!..

О в ц а (грубовато) Кспрст!.. кспрст!..

К о р с а р. Вперед, вперед! Подать мне мой инструмент!

(Акулина приносит ему гармонику)

Корсар (красуясь на капитанском мостике, играет и поет).

...Рыдала Луиза в саду голубом,
Знала его завтракать в гости,
Но он ей ответил: «На флаге моем
Скестились берцовые кости!»

Я — гад, я — пират, я — воровка детей,
Я полон гремучего яда!
Что ж, интересуйся судьбою моею,
Но... ах! мне прощенья не надо!

Пауза

(Из фото-ателье появляется фотограф: в руках у него большая
тряпка, на которой корявыми буквами написано «Новобыт»)

В с е. Уррра-ра!

(Долинский трижды целуется с фотографом)

Д о л н с к и й (вытирая губы). Друзья! В этот зна-
менательный для нас день, я хотел бы вам предложить не-
сколько образцовых слов. Это вполне доброкачественные
слова. Когда вы испытаете их на себе, вы даже попросите
еще и уверяю вас, что через пять лет они будут стоять втрое
дороже!

Г о л о с а. Говори, говори, Керрозины!

Д о л и н с к и й (откашливается). Ге-хррм! Итак,
дорогие друзья и подружки! (становится на лестничку, веду-
щую к капитанскому мостику). Много миллионов лет тому
назад люди бегали, как сумасшедшие. Всякому хотелось
широко жить, и никто не мог себе этого позволить; тогда
все эти первобытные сволочи разделились по внешним
признакам, как тигры и коровы. Они сдружились в кучки
и стали шептаться по уголкам! Таким методом образова-
лись разные народы. Зачем? Чтобы эксплуатировать! Это
было притворство и сплошная интрига! Теперь один народ
притворяется, что он итальянец, другой народ, — что он

немец. Я тоже притворялся! Я жертва мировых интриг! На самом же деле, как вы знаете, я — коммивояжер.

С у р о в ы е г о л о с а. Правильно! Правильно...

Д о л и н с к и й. То, что я сказал, очень ценно (тихо сходит со ступенек и устраивается около овечьей группы. Из кают-компания так же тихо выходит Роберт Поотс: сейчас можно заметить, что лицо его пожелтело и обросло рыжеватой щетиной. Медленными шагами приближается он к капитанскому мостику, опускает голову и скрещивает на груди руки).

Р о б е р т П о о т с. Я — фармацевт из Луцка.

(Сочувственное молчание).

Р о б е р т П о о т с. Я подарил Дику Сьюкки мазь для бритья.

С у р о в ы е г о л о с а. Правильно! правильно! (Роберт садится на борт рядом с Бурдюковым и Опанасом).

К о р с а р. Вперед, вперед! (играет и поет).

Грот-марса-рей! Скорей! Скорей!
Скачи, мой шкот, среди морей!
Лети, мой пакебот, вперед!
Нет больше Пиренеев!

Грот-бом-брам-брас! Сейчас, сейчас!
Мой будет короток рассказ:
Пеленгуй на СССР! —
И никаких испанцев.
Р-р-рраз!!!!

М а р у с я. Милый...

(Разговор комсомольцев)

— Интересно, чем все это кончится? Заварили кашу...

— Выкинут?

— А ты что думаешь? — Свободное дело... исключат без права!..

— Эх, жизнь!.. Один единственный разочек до романтики дорвались!.. Да, так нам и надо!

— Стоп, Васька! А ведь мы как-никак корабль приобрели?

— Приобрели! Наплачешься еще с таким приобретением! Ворованная вещь, понимаешь? Еще такую переписку заведут по поводу, что закачаешься!..

(Лева Промежукес подымает голову из недр овечьей группы)

Л е в а П р о м е ж у т к е с (вдохновенно). Слушайте, товарищи, это такой же «Паразит», как я — Георгий Победоносец!

О п а н а с и Б у р д ю к о в (в один голос). Как, как?

Л е в а П р о м е ж у т к е с. Потому что этот «Паразит» — таки да «Георгий Победоносец!» При старом режиме он принадлежал РОПИТ'у*. Я открыл эту тайну в трюме прежде, чем начал жить в крупе.

(Комсомольцы переглядываются. Волна радости заливает их лица. Роберт Поотс бежит с новостями на капитанский мостик)

К о р с а р (громким голосом). Уррррра! (Играет и поет с большим ожесточением):

Грот-бом-брам-брас! Сейчас, сейчас!
Мой будет короток рассказ:
Пеленгуй на СССР!
Р-рраз!!!

* Русское общество пароходства и торговли. Во время очищения Крыма от белобандитов суда РОПИТ'а были уведены за границу (*прим. ред. первого изд.*).

(Яхта летит. Светло. На теплых волнах играют дельфины)

Б у р д ю к о в (кряхтя, становится в позу оратора). Товарищи, мне жжет карман песня, которую вы мне заказали. Она переделана из вашей старой пиратской песни и поется на мотив диких степей Забайкалья.

(Пираты пробуют голоса)

Б у р д ю к о в (вытаскивает из кармана листок бумаги, покрытый песней). Начинаем! —

Вот — друг угнетенных народов
И всякого сволоча враг,
Емелюшка Чернобородов,
Воинственный, храбрый моряк!

И с нами пойдут, хоть на Мурман,
Герои пиратских легенд — Дик Сьюкки,
наследственный штурман,
И Роберт, наш интеллигент!

И в старенькой белой панаме,
Намыленный мылом ТЭЖЭ,
Гуляет Долинский меж нами,
Сознательный парень уже!

И с хамелеоном в союзе
Молочница — больше не поп,
Баранину жарит в камбузе
И, может быть, режет укрой!

И, полон врожденного слуха,
К родимой машине приник
Товарищ развесистый, Юхо
Таабо — финляндский мужик!

И светит улыбкой прелестной,
Теперь уж от прошлого чист,
Хотя и ленивый, но честный,
Фотограф-моменталист.

А в общем, мы сделали дело,
Разбой помаленьку забыт, —
Так пойте ж, товарищи, смело:
Да здоровствует наш «Новобыт»!
Так пойте ж, товарищи, смело:
Да здоровствует наш «Новобыт»!

(Звучные голоса сшибаются и крепнут. Организованно шумит море... «Билли Палкой!» — кричит Хлюст. Голубое солнце бьет прямо в грудь. С криком проносится береговая чайка)

Занавес

Приложение

ДРАМА ВО ЛЬДАХ

Он весил двенадцать кило. У него был жабий живот, каменными уступами свисавший на кривые и слабые ноги, — и вся тяжесть была в этом чреве. На ощерившемся широком лице застыла улыбка злобного самодовольства; короткие ручки с раскрытыми ладонями были подняты для благословения, и узкий лоб пересекала продольная морщина Каина.

Его как-то подарил полковнику Ферри полковник Литтон. Это случилось на заре новой истории человечества, в нашем веке.

За послеобеденным кофе Ферри сказал своей жене:

— Богатая вещица, Согро ди бассо! Замечательно аристократическая вещь! У генерала Пьяджо тоже есть урод. Это называется фетиш, моя милая, фетиш! В хороших домах считают, что эти штуки приносят счастье.

И полковник Ферри назвал подарок полковника Литтона своей маскоттой, хотя полковник Литтон никогда не прочил карьеру маскотты своему старому пресс-папье.

В прошлом году Ферри был назначен командором дирижабля «Роккета»; он взял своего идола в полярное путешествие. Но правила погрузки были жестки, сила дирижабля точно учтена, и командор Ферри выбросил за борт двенадцать кило мясного желе — чистейший вес, вытесненный каменной жабой...

Командор Ферри был немолод, коренаст, немного тучен; у него были длинные руки, плоский лоб с впадиной посередине и сдвинутые к переносице глаза. Он считался неважным летчиком, но, как бы то ни было, его поставили командовать «Роккетой». На этой «Роккете» летели тихие, сдержанные люди, сменившие мирную свободу кожаных кабинетов на заточение в ледяном пространстве; они направлялись в область, отмеченную на картах Арктики белым пятном; у них были свои цели, у Ферри — своя.

Над Тюленьим островом «Роккета» потерпела легкую аварию. Один из моторов забастовал; нужно было выки-

нута разницу между тяжестью багажа и трудоспособностью раненой машины. Командор Ферри сумел распорядиться.

Молодой метеоролог Торвальдсен вез много инструментов; круглые, длинные и складные, они работали день и ночь; они бросались в глаза и занимались не относящимися к «Роккете» вещами: качеством воздуха, окраской звезд...

Командор Ферри предложил изъять их из обращения «Роккеты», чтобы облегчить ей полет; их судьбу разделил узкий ящик геофизика Берна и телескоп астронома Гарнье — светлый телескоп мелкой и благородной породы...

— Из полета выбрасывают смысл! — кричал Торвальдсен, бледный, как дюралюминий, — смысл летит вниз, а мы продолжаем мчаться вперед! Надо возвратиться.

Но Ферри был командором «Роккеты».

2

«Роккета» погибла. Двадцать пять человек разбрызгались сгустками крови по синему льду. Торвальдсен спасся; спасся также командор Ферри. Товарищем по удаче им пришелся Саббаторе, младший помощник.

Саббаторе было лет 28-30. Это был хилый для летчика и неловкий человек. Прежде, на «Роккете», он выглядел так, словно был вечно подвергнут дисциплинарному взысканию, как можно быть подверженным простуде.

Оглушенные, они сгруппировались кучкой рядом с хаосом металла и мяса. Вокруг расстилалась бесконечная белая пустыня. На черной бородке и меховой груди Ферри густо блестела замерзшая слюна.

— Ну вот, господа, — тихо сказал, наконец, Торвальдсен, — я не знаю, где мы. Разумеется, надо идти на юг.

Он говорил на скверном английском языке; это был единственный язык, на котором все трое могли бы объясниться.

— Я знаю, — сказал Ферри, — я приказываю идти на юг.

Торбальдсен продолжал:

— Разумеется, взять с собой консервы и спирт.

Ферри согласился.

— Консервы и спирт я приказываю взять с собой.

— Следует поскорей, — сказал Торбальдсен.

— Я приказываю трогаться немедленно!

Из-под обломков «Роккеты» удалось добыть и мясные консервы, и твердый спирт, и мешки. У Торбальдсена сохранился компас, у двух других — оружие.

Вдруг командор вспомнил. Ликуя, он поднял к небу длинные руки, потом бурно обнял Саббаторе. Саббаторе раскашлялся, поперхнувшись уважением; Ферри велел искать под обломками «Роккеты» еще и еще.

— Что он ищет? — терпеливо спросил Торбальдсен.

— Мое, — ответил командор.

В этот день им везло, и младший помощник нашел все, что ему приказали. Маскотта командора была цела. Эта тварь не изменилась с тех пор, как Ферри снял ее со своего бюро. Она отнюдь не убавилась в весе и нисколько не похорошела.

— Всего двенадцать кило, — сказал Ферри.

У Торбальдсена от недоумения слегка кружилась голова.

— Но мы должны взять ее с собой, — продолжал Ферри.

Торбальдсен с опаской поглядел на него.

— О, нет! Пустая тяжесть, идиотская тяжесть!

Ферри откинул голову, и обledenелая борода поднялась:

— Я начальник!

— Начальник я, — покачал головой Торбальдсен.

— Начальник он, он! — испуганно крикнул Саббаторе, указывая на командора.

Швед ничего не ответил. Он пересчитал про себя коробки с консервами и отложил одну треть в свой мешок; двое других проделали то же самое. Когда с консервами было устроено, Ферри втиснул двенадцать килограмм идола в саквояж кого-то из покойников «Роккеты»; этот груз он передал младшему помощнику. И так, за спиной у Сабба-

торе был походный мешок, а в правой руке саквояж с маскоттой.

— Зачем вы несете чужую вещь? — спросил швед. Саббаторе неприязненно поглядел на него и промолчал.

Вдруг Ферри пошел на мировую; у него была чудная улыбка, пленительная детская улыбка, обнажавшая перламутровые зубы. Он постучал кулаком в рукавице в высокую грудь Торбальдсена и похлопал по боку саквояж Саббаторе.

— Тут мое счастье, — дружелюбно объяснил он, — ценная вещь! Я должен был из-за нее выбросить даже ваши инструменты.

Швед понял, но только простонал. Затем он взглянул на компас и пошел к югу. Остальные двое последовали за ним. Впереди расстилалась ясная кристаллическая безнадежность.

С Торбальдсеном было неладно: его физически томила мысль о человеке, несущем по его следам ненужную и пустую тяжесть. На протяжении целого километра швед искал английских слов для выражения своего смутного страха:

— Слово «варварство» слишком неясно, — сомневался Торбальдсен... — Дикарь, троглодит, зулус, готтентот — это лишь простая брань.

Он нашел наивное слово, которое почему-то казалось ему подходящим, чтобы кратко воззвать к сознанию Ферри.

Он повернулся лицом к спутникам и подождал их, прочно расставив длинные ноги на льду.

— Вы — каннибал! — сказал он командору.

Но, как ни удивительно, полковник Ферри вовсе не знал этого слова.

На шестидесятом часу пути стоял все такой же день, в который разбился дирижабль. Полярный день — половина года: мертвое болото блеска и тишины. Для полярного дня шестьдесят часов — минута. Вкус съеденной пищи или произнесенный звук хранятся во рту целую вечность; если сказано слово — слух не может расстаться с ним; мысль живет долго, как черепаха. Так консервируют жизнь мороз и тишина.

— Мы должны взять ее с собой, — все еще звучал в мозгу шведа первый разговор к командором.

— О, нет, пустая тяжесть...

— Я начальник...

Они почти не обращались друг к другу. Лица их почернели, опаленные холодом, и стали похожи на лица негров. Саббаторе громко дышал. На привалах, за едой, Торвальдсен снимал правую рукавицу и вел дневник; он писал в блокноте тоненьким карандашом, то и дело выскальзывавшим из оледенелых пальцев. Научных записей Торвальдсен не вел. Ему нечем было работать.

«От 11 июля 1928 года... Тихо... Телескоп, микроскоп, микрофон — продолжение органов человека. У меня ампутированы эти научные придатки; двое моих спутников в лучшем положении: продолжение их рук — револьверы...

От 11 июля 1928 г., через шесть часов... Тихо... Саббаторе продолжает тащить саквояж. Правда, мешок с провизией становится легче, но сам Саббаторе становится слабей...

От 11 июля 1928 г. 10 часов вечера... Тихо... Страх рождается непониманием. Дикарь боится явлений природы, естествоиспытатель боится дикаря. Ферри боится расстаться с талисманом. Саббаторе тащит двенадцать идиотских кило из страха перед судом. Я боюсь Ферри и Саббаторе».

Они не ели: с невыразимой жадностью они принимали свои жалкие дозы пищи, как наркотик и, когда действие наступало, подымались, чтобы идти вперед.

На пятнадцатом привале пришлось отказаться от горячей пищи. Сухой спирт иссяк. Брошенные за ненадобностью спиртовки и чайник отметили их путь, как кости верблюдов — путь каравана. Путники были хорошо экипированы, но тепло, не возобновляемое изнутри, быстро иссякало. Его не могли удержать ни двойная пара теплого белья, ни пуховый свитер, ни меховые куртки. Оно испарялось сквозь ноздри, глаза, уши и скупые слова. Люди силились уберечь это тепло и донести его до живой земли, — точно оно было тем зерном, из которых могла возродиться их органическая жизнь. Но все было тщетно; тепло оседало инеем на их воротниках и небритых лицах. Внутренний холод создавал чувство одиночества в мировом пространстве. Они спешили на юг, туда, где тает лед, чтобы встретить землю, на которой можно найти человеческую дорогу или человека, которого можно спросить о земле, или зверя, которого можно убить, чтобы, подкрепившись, идти дальше на поиски земли и человека... Отчаяние наступило внезапно. 14 июля Ферри крикнул, протянув руки к прозрачному небу:

— Каплю! Одну каплю горячего! Каплю горячей пищи! Я умираю.

Он испугался своих слов, но не мог бы взять их обратно, даже если бы захотел.

Торбальдсен записал: «14 июля 1928 г. Без перемен. Провизии хватает. Но они южане, — вот в чем дело. Им трудно удержать внутреннее тепло. То, что они южане, значит страшно много»...

На привале Ферри простонал:

— Я хочу перца, зеленого перца, который жжет внутри!

Он съел свою порцию говяжьего сала и успокоился. На этом кончился первый приступ отчаяния.

15 июля. Саббаторе отморозил руку. Она висела у него, как плеть; проснувшись, он не мог подняться, и Торбальдсен помог ему встать. Ферри мрачно смотрел на эту сцену.

В путь выступили поздно. Перед дорогой Торбальдсен покосился на желтый саквояж; в сердце шведа шевельнулось что-то вроде детского злорадства; но Ферри резко крикнул по-итальянски, и Саббаторе, съехившись, указал

на свою мертвую руку. Метеоролог выступил вперед, чтобы заслонить Саббаторе.

— Что вы хотите?.. — крикнул он командору.

— Он должен взять этот саквояж. Он солдат, — тупо ответил Ферри.

Торбальдсена охватил знакомый ужас:

— Вы сошли с ума. Это безумие! Он болен. Несите сами.

— Он должен, — крикнул командор, — я приказываю.

— Саббаторе не возьмет, — твердо сказал швед.

— Саббаторе знает, — вкрадчиво сказал Ферри, — я начальник, он солдат. Солдат не слушается — подлежит расстрелу. Такова дисциплина.

Рука командора легла на пояс, на котором висел короткий тупой револьвер.

Саббаторе ринулся к саквояжу, но упал всем телом на большую руку. Его привел в сознание Торбальдсен. Он снял с плеч Саббаторе легкий мешок, втиснул его в свой и с проклятием приподнял саквояж.

— Идемте вперед, — сухо бросил швед.

Ферри улыбнулся. У него была прелестная улыбка, обнажавшая перламутровые зубы... Он дружелюбно дотронулся до плеча метеоролога:

— Вы северянин, вы не поймете. Это мое счастье. Я не могу отказаться от счастья...

Стоял все тот же полярный день. Каждый шаг приближал их к цели; росли немерянные километры, росла ненависть Торбальдсена, кружилось желтое солнце, становились легкими походные мешки, — и только маскотта командора держала свой вес... Но надежда не покидала их. Они шли на юг к открытой воде, к земле, к дымкам пароходов...

Торбальдсена мучили мысли, которые он мог бы поведать только инструменту, а не человеку. Только инструмент мог разрешить сомнения шведа, поддержать, разочаровать. Компас и хронометр были беспомощны в этом деле, а все остальное лежало на далеком Острове тюленей, выброшенное с дирижабля командором «Роккеты».

Однажды в полночь Торбальдсен проснулся; его спутники спали, как убитые, их лица, густо смазанные жиром, отражали солнце. Торбальдсен приподнялся на локте и с ожесточением ударил кулаком по желтому саквоюжу. Металлический замок щелкнул; саквояж раскрылся, обнажая омерзительное тело идола. На лед посыпались гребешок, тонкая книжка в мягком переплете, синие подтяжки. Вдруг в глаза Торбальдсену блеснул знакомый медный предмет. Метеоролог схватил его обеими руками.

Это был сектант астронома Гарнье.

Торбальдсен произвел вычисление дважды и трижды и, когда цифры сошлись в четвертый раз, он встал на ноги и резко растолкал своих спутников:

— Эй, командор Ферри! — сказал Торбальдсен. — Идти вперед не надо.

Ферри вскочил на ноги и зашатался:

— Как не надо? Мы идем на юг, на юг!

Торбальдсен горько усмехнулся:

— Мы идем на юг. Вы правы... — он помолчал немного и добавил: — но нас относит к северу. Понимаете? Это, — он ударил ступней по льду, — это не материк, это льдина. Это плавучая льдина.

4

У них была твердая почва под ногами, — ничем не хуже палубы парохода или пола в поезде. Земля, как земля, если только можно назвать землей глубокий лед. Вся разница в том, что идти вперед было незачем: теперь они ехали. Их несло на северо-восток — в сторону, противоположную жизни, — и тут ничего нельзя было изменить. Продвигаться на юг было бессмысленно. Путь кончился; наступило время последнего привала.

Но если нельзя было самим спешить к спасенью, оставалось ждать его к себе. Помощь могла прийти только из-

вне, из оставленного мира. Поспеет вовремя — жизнь; запоздает — смерть.

Саббаторе бросился ничком на лед; длинное и узкое тело судорожно вздрагивало; потом он поднялся, шатаясь, и завыл. Торбальдсен неподвижно стоял, прислонив отяжелевшую голову к глыбе льда. Ферри сидел, грузно опершись на скрещенные под грудью руки; им владела последняя апатия. Саббаторе снова упал, снова поднялся, сорвал зубами перчатку с правой руки и стал с криком грызть пальцы, чтобы заглушить воплями и острой болью голодную тоску.

— Нас ищут, — сказал Торбальдсен, подымая голову. — Я знаю это.

Ферри безучастно поглядел на него. Командора занимала только одна мысль — выпить горячего, наполнить рот кипятком, растопленным салом, расплавленным оловом...

Торбальдсен повысил голос:

— Я хочу сказать, что нам нужно все-таки пойти вперед. Нам нужно дойти до воды.

Ферри неожиданно вскочил. По лицу его пробежала судорога.

— Я приказываю идти. Мы теряем время! — с лихорадочной быстротой он бросился к Торбальдсену. — Мы пойдем сейчас же, сию минуту! — в тревоге он перешел на родной язык. — Если нас разыщут, нам подадут вино — густое, красное вино; его можно подогреть. Саббаторе разогреет его для меня.

— Не понимаю, — сказал Торбальдсен, отступая. Его поразили этот резкий перелом Ферри от апатии к возбуждению.

Командор подпрыгнул:

— Эврика! Мы согреемся сейчас! Я нашел! Мое счастье я понесу сам! В своем мешке! А саквояж мы сожжем. Сожжем саквояжик! Мы славно согреемся, мои друзья. У меня застыли внутренности. Я — лед! Я — глетчер!...

Саквояж дал больше дыма, чем тепла; люди жадно склонялись над огнем, опалая усы и бороды. Но консервы

не разогревались на легком огне; снег таял, оставаясь холодным. Голая каменная жаба сидела на льду; омерзительная и цветущая, она была неизменна.

Когда костер догорел, они двинулись за запад. Свой мешок с маскоттой Ферри тащил за ремни по льду.

Несмотря на сдержанный шаг, путники достигли воды совсем скоро. Зеленая колеблющаяся равнина была запятнана огромными льдинами. Дальше идти было и впрямь некуда.

— Вот и все, — сказал швед. — Нас ищут.

От голода ему казалось, что живот примерз к крестцу.

Они легли. Саббаторе прижался к боку Торбальдсена, притиснул свою голову ему подмышку и успокоился в тяжелом оцепенении.

— Спать! — простонал Ферри, порывисто приподнимаясь на локте. — Дайте мне спать!

Но его организм уже не принимал сна.

Швед крепко зажмурил глаза, крепко сцепил зубы, сжал руки в кулаки и так прижался виском к дорожному мешку, служившему изголовьем, что свело скулы. Он постарался представить себе сначала, что прирос ко льду, потом, что составляет со льдом одно, что его внутренности, его дыхание, чувства, мысли — лед. Постепенно он перестал страдать: он напряженно заснул...

Когда Торбальдсен проснулся, Ферри сидел рядом с ним.

Перед Ферри стоял фетиш. Зубы Ферри почти выбивали звенящую дробь. Швед отвел от него глаза. Саббаторе стонал ритмично и без выражения, как машина, вырабатывающая боль.

— Меня спасут, — с огромным усилием прохрипел командор, видя, что швед проснулся. — Маскотта моя. Спасут меня одного.

— Нас ищут все время, — выдавил швед из своей коченеющей гортани.

— Спасут меня, — монотонно сказал Ферри, указывая пальцем на свою шею. — Я должен дожить до спасения.

Швед не ответил.

— Мне нельзя умереть, — строго покачал головой командор. Он лег, завозился и положил обе руки под щеку.

Торбальдсену было невыносимо трудно двигаться и шевелиться. Но он знал, что потом будет еще трудней. Он приказал себе встать, приказал вынуть из мешка блокнот и начал писать; букв уже не было в его почерке: были сломанные черточки, треугольники, искаленные полукруги, похожие на звериные следы...

«... 17 июля 1928 г. 80° 15' сев. шир. Тихо. Нас ищут. Я знаю. Нас зовут радио всего мира. Так должно быть. Саббаторе кончается. Я здоров. Могу продержаться еще четыре дня. Писать не могу, двигаться даром не могу. Важно для науки: Ферри поклоняется фетишу. Полковник Ферри — обезьяна. Осмотрите его ступни, исследуйте мозжечок. Как холодно...»

Обессилев, он оставил блокнот валяться на льду.

Командор слабо дернул его за рукав:

— Вы умираете? — спросил он глухим и быстрым шепотом.

Торбальдсен поднял голову.

— Нет. Еще можно держаться.

Он взглянул на лицо Ферри и вздрогнул. Если об исхудавшем лице говорят, что от него остались одни глаза, то в лице командора пропало все, кроме косматого подбородка, выдавшегося далеко вперед.

— Саббаторе умирает, — сказал Ферри, подтащив свое тело поближе к Торбальдсену, и почти весело подмигнул.

Швед молчал...

— Саббаторе умрет, — настойчиво продолжал командор, — тогда мы его...

Саббаторе перестал стонать. Мгновенье спустя он издал пронзительный нечеловеческий крик. Торбальдсен вскочил на ноги. Саббаторе судорожно сел, упираясь здоровой рукой в лед.

— Я жив! — крикнул он по-итальянски. — Вы видите — я жив! — Кусок какого-то кровавого студня вылетел вместе с криком из его губ и застрял в бороде. Командор хотел

встать, но упал на четвереньки и только приблизил свое лицо к лицу Саббаторе.

— Это бунт! — захрипел командор, не помня себя. — Молчать! Я приказываю. Бунтовщиков предают суду.

— Я жив! — зарыдал Саббаторе.

Торбальдсен выхватил из своего мешка круглую жестянку. Это были последние консервы.

— Получайте! — крикнул он, бросая жестянку между Саббаторе и командором «Роккеты». Ферри сразу замолк и набросился на добычу; дрожащей рукой он отцепил от пояса нож. Саббаторе вспыхнул и затаил дыхание. Жесть заверещала под ножом.

Полярный воздух абсолютно чист и абсолютно пуст. Можно пройти всю Арктику, не уловив ни малейшего запаха жизни. И если, случайно, обоняние находит пищу, человек пьянеет.

Ферри поранил себе палец. На меху рукавицы выступила кровь. От ее запаха и от ощущения тепла командор обезумел.

— Гей! — зарычал он, обращаясь к шведу. — Из-за вас я поранил руку.

Но швед стоял, обернувшись к нему спиной; он стоял с поднятыми руками, закинув голову и подавшись всем корпусом вперед.

«Он молится», — подумал Ферри.

Револьвер был страшно тяжел. Почти так же тяжел, как маскотта. Командор поднял его на уровень груди; оружие оттягивало руку, и он поддержал ее другой рукой.

Торбальдсен обернулся. Он крикнул что-то бодро и звонко, но в это мгновение грянул выстрел. Сначала Саббаторе понял только, что консервы свободны, и завладел ими; звук выстрела еще не дошел до его помутненного сознания.

Торбальдсен упал, широко распахнув руки.

Только тогда Саббаторе услышал грохот. С ужасом он поднял руку к глазам, но, не удержав равновесия, свалился на бок.

Ферри бросился к трупу Торбальдсена и припал к его груди; пуля прошла навылет. Командорпил горячее. Горя-

чего было много, но оно залепляло горло и с трудом прокатывалось по пищеводу в желудок.

Согревшись, Ферри встал и потянулся. Он был потрясен.

— Мадонна миа! — прошептал он. Шум в его ушах рос, ширился, распирали голову и грудь. Ровный густой гул несся над ледяной пустыней. К горлу Ферри подступила судорожная тошнота. Он в ужасе растолкал Саббаторе и грузно сел рядом с ним.

— Я страшно пьян, — пробормотал командор, — помоги мне!

Саббаторе услышал и открыл глаза. Увидев окровавленное лицо, он в предсмертном томлении заметался головой по льду. Внезапно он дернулся, как бы порываясь встать, и захлебнулся счастливым выдохом.

С юга летел аэроплан, он шел низко над пестро-пенной зеленой водой и его утробный рокот приближался с каждой минутой.

— Ловите его! — пролепетал Саббаторе.

Ферри остолбенел; закинув голову, он улыбался. Вдруг он вскочил на ноги и потряс кулаками.

— Скорей! — крикнул он вверх. — Скорей!

Саббаторе легко и ловко поднял со льда свое омертвевшее тело.

Он чувствовал себя крепким, довольным, молодым, — да и могло ли быть иначе? — Стоял такой теплый полдень, так славно цвел боярышник над заливом! Кроме того, Саббаторе назначили командором дирижабля новой конструкции... Пока дирижабль подадут, можно успеть отлично выкупаться! Но как трудно снимать сапоги, если одна рука здесь, а другую забыл дома!...

Гуденье аэроплана становилось все ближе и ближе.

... Ферри потряс его за плечи. Лицо командора страшно дергалось.

— Зарубите себе на носу, — он так и сказал, — зарубите себе на носу, идиот! Это вы убили шведа в пылу ссоры: он поносил бога и короля. Слышите, вы?

Саббаторе нахмурился и гордо поднял голову: ему решительно не нравился этот тон. Черт знает, что делается в армии! Форменная крамола!

— Молчать! — взвизгнул он.

Правая рука его медленно поднялась, останавливаясь и дрожа; он слабо ударил командора по физиономии.

Ферри на мгновение остолбенел.

«Он убьет меня!» — пронизала вдруг мозг Саббаторе удивительно реальная мысль. Все мускулы его напряглись; грудь, плечи, даже темя налились дикой энергией. Он выхватил из-за пояса револьвер и выстрелил. Командор упал навзничь.

Саббаторе вызывающе огляделся. Цветы боярышника были сплошь усеяны пчелами; пчелы оглушительно гудели; их становилось все больше и больше...

Тут он заметил, что на солнечном песке сидит большая жаба; передние лапы ее были подняты.

— У... потаскуха! — пробормотал он. — Мадонна!

Он хотел опрокинуть ее ногой, но тварь была очень тяжела. Тогда, судорожно вздыхая и захлебываясь, он провез ее по скрипучему льду и толкнул в воду...

Потом воздух почернел от пчелиного гула.

* * *

Аэроплан JR2 исполнил свой долг; он снизился и сделал посадку. Люди, которых он привез, сошли на лед. Саббаторе встретил их без особого восторга.

— Я приказываю оставить меня одного, — сказал он, — я командор.

А. Шерман

ЙО-ХО-ХО, И БУТЫЛКА РОМУ!

(«История яхты “Паразит” и ее автор)

В 1928 году в издательстве «Молодая гвардия» вышла в свет книга в скромной зелено-черной обложке, изображавшей тонущий корабль под пиратским «Веселым Роджером». Незнакомое имя автора, Эдлис Сергрэв, к которому было нахально прибавлено «эсквайр» — немедленно и безошибочно напоминало о далеких островах, сундуках с награбленным, висельниках на рее, бочонках с ромом и одноногих пиратах с ножами в зубах. Одним словом, об «Острове сокровищ» Р. Л. Стивенсона и прочих пиратских романах.

На первых же страницах, однако, правоверный критик И. Рубановский (в его активе — работа редактором в ЗИФе и цензором в Главлите) расхолаживал чересчур доверчивого читателя. Нет ни островов, ни сокровищ, ни Эдлиса Сергрэва... «Автор — не Эдлис Сергрэв (такого, кажется, нет и не было), — писал Рубановский, — но ряд блистательных европейских созвучий двух этих слов напоминает нам десяток писателей, которых читали, любили и чьи имена похожи на эту фамилию. Может быть, даже какой-нибудь “попутчик” или пролетарский писатель скрывается под этой звучной фамилией, так похожей на ласкающие слух имена Эмилио Сальгари или Луи Жаколио».

Вообще-то нам кажется, что предисловие Рубановского появилось в книге совсем не случайно: дело в стране шло к сталинскому «великому перелому», поток приключенческой и фантастической литературы параллельно шел на убыль, и издательству необходимо было обезопасить себя от возможных нападок. Рубановский, впрочем, говорил отнюдь не самые глупые вещи — замечая, к примеру, что «Яхта “Паразит” вовсе не одна повесть. Это — сто повестей, а может быть, и больше. <...> “История яхты” не повесть, а исследование о штампах, традициях и схемах в авантюрно-морском романе, исследование, из которого выброшены все публицистические ремарки и оставлены ловко пришедшиеся

друг к другу цитаты».

Но будь «Паразит» только «исследованием» штампов и набором сколько угодно пародийных цитат, книга не понравилась бы ни Рубановскому, ни нам. А книга у «Эдлisa Сергрэва» получилась очень веселая — литературная удача, близко сходная по подходу к материалу с «Двенадцатью стульями» И. Ильфа и Е. Петрова. В романе рассказывается о незадачливом экипаже яхты, принадлежащей консулу одной из балканских микродержав; не получая жалованья, они угоняют суденышко и становятся пиратами, грабящими турецкие лодки с контрабандой. Пиратский быт рушится под напором мелких акул-капиталистов и... проникшей на корабль тройки комсомольцев, а также «кустаря-одиночки» Левы Промежуткеса. Отныне пираты заняты в основном заполнением анкет, бесконечными собраниями и заседаниями и выкрикиванием лозунгов. Наконец, «перековка» пиратов завершена, и корабль «Новобыт» — бывший РОПИТовский «Георгий Победоносец», «Парадиз» и «Паразит» — триумфально берет курс на СССР. Чего же лучше: ведь большинство пиратов — и элегантный Роберт Поотс (автор полагает, разумеется, что читателю известно слово «поц»), и роскошный Эмилио Барбанегро по прозвищу «Корсар», и итальянец-фашист Титто Керрозини — оказываются русскими эмигрантами, француз-толстовец Анна Жюри — беглым растратчиком Чичиковым, а бывший кок и корабельный священник Фабриций — и вовсе молочницей Акулиной...

«Эдлис Сергрэв» мог бы ограничиться этой великолепной пародией на всевозможные штампы романов морских и пиратских приключений от Сальгари до Сабатини, а также советских подражателей западных «приключенцев» и «труды» безграмотных переводчиков. Но — не ограничился. «Паразит» — широкая пародийная панорама советской литературы первого послереволюционного десятилетия, в которой нашлось место и М. Горькому, И. Эренбургу и И. Бабелю, и М. Светлову и Б. Лавреневу, и А. Адалис и И. Аксенову, и О. Мандельштаму и И. Сельвинскому (последним приписаны в романе идиотические «переводы»). Это — и масштабная сатира на «быт и нравы» комсомольцев и комсомольские газеты и журналы.

К сожалению, многие язвительные шутки автора останутся столь же многим современным читателям непонятным. Многие ли из них, читая об экономисте и доморощенном философе Застрялове, поймут, что это — карикатура на «сменовеховца» и «национал-большевика» Н. Устрялова? Или же при восклицании «Луна с правой стороны, сэр!» вспомнят о напумевшем в двадцатые

годы романе С. Малашкина «Луна с правой стороны», посвященном разврату в комсомольской среде? А при описании задорно переходящей от мужчины к мужчине Маруси – о молодежном «половом вопросе» в повестях и рассказах того же С. Малашкина, П. Романова и Л. Гумилевского? И вероятно, даже некоторые вполне искушенные читатели не сразу сообразят, что «глубокомысленные» высказывания Левы Промежуткеса («Что такое — страдать? — Притворяться. Что такое притворяться? — Страдать. Что такое Лева Промежуткес? — Кустарь-одиночка!» и т.д.) пародируют неповторимый стиль Менделя Маранца – героя очень популярной в то время переводной повести Д. Фридмана.

Кем же был автор «Паразита», замечательной и несправедливо забытой книги? Не так давно один из московских букинистов высказал предположение, что под псевдонимом «Эдлис Сергрэв» скрывался одаренный поэт, писатель и путешественник Б. М. Лапин (1905-1941), погибший под Киевом во время Второй мировой войны. В пользу этого предположения говорит многое.

«Он увлекался старыми мелкими романтиками и китайской революцией, космосом и словообразованиями, ходил на бурные литературные диспуты, мечтал об Индии», — писал в воспоминаниях о Лапине И. Эренбург (Лапин был женат на его дочери Ирине). «Вскоре он перешел на прозу, но стихи продолжали притягивать его к себе. В различные книги он включал свои стихотворения, выдавая их за переводы старых таджикских поэтов, чукотских заклинаний, японских танок, американских песенок <...> Языки ему давались легко, в нем жила страсть лингвиста. Он читал на немецком и на фарси, на английском и на языках народов Севера; знал сотни китайских иероглифов».

И действительно, автор «Паразита» — в отличие от ряда малограмотных советских «приключенцев» и фантастов эпохи — демонстрирует широкую эрудицию (в эпиграфах он свободно оперирует именами А. Бергсона и Вольтера, Кораном и Г. Гейне) и глубокое знание современной ему литературы, в особенности поэзии. Прибавим к этому замечательные способности к версификации — «пиратские песни» и «жестокие романсы» в романе превосходны! — немалую склонность к мистификации, в том числе вставкам вымышленных стихотворных текстов – и увлеченность «восточной» (а также, как мы увидим ниже, и северной) экзотикой. Все это чрезвычайно характерно для Лапина. Вдобавок, имя Лапина появляется в примечании на одной из первых страниц книги; похоже, упоминание имени достаточно ма-

лоизвестного в те годы литератора в подобной маркированной позиции говорит само за себя.

Нам не удалось обнаружить какие-либо другие произведения, подписанные псевдонимом «Эдлис Сергрэв», за исключением рассказа о полярных исследователях «Драма во льдах», опубликованного в №№ 23-24 журнала «Смена» за 1928 г.; псевдоним автора дан здесь как «Эдлис Сэргрев».

Роман «История яхты “Паразит”» долгие годы не только не переиздавался, но и оставался неизвестным знатокам и исследователям советской авантюрно-фантастической, приключенческой и «псевдопереводной» литературы 1920-х гг. Наша книга, первое переиздание с 1928 г., знаменует его возвращение к читателям.

Все включенные в книгу произведения публикуются по первоизданиям с исправлением некоторых устаревших особенностей орфографии и пунктуации. Все примечания (за исключением редакционного на с. 185) принадлежат автору.

В оформлении обложки использована обложка оригинального издания книги ««История яхты «Паразит»» работы В. Милашевского.

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

SALAMANDRA P.V.V.